

Владимир Рыбин ПО ДРЕВНЕМУ  
ПУТИ

*„Из варяг  
в греки“*



ПУТЕШЕСТВИЯ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ПОИСК

*Владимир Рыбин*

ПО ДРЕВНЕМУ

ПУТИ

**„из варяг  
в греки“**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»  
МОСКВА 1971



91(C)  
P 93

*Главная редакция  
географической литературы*

*-Художник Л. Г. Саксонов*

2-8-1  
159-71



## ЧАСТЬ I

*Всё,  
что на нашу землю придет,  
Все,  
кто на нашу землю пришли,—  
из земли.*

*Э. Межелайтис*

### ЭТО БЫЛО В ПИНСКЕ

Ясным летним днем 1966 года к одному из домов на улице Ленина в Пинске подошли двое рабочих и укрепили у подъезда голубую вывеску с длинным названием «Главполесьеводстрой».

Город жил обычной жизнью. Шумели тополя над старыми улицами. Пылили новостройки. Кричали теплоходы на блестящей Пине. Шептались влюбленные под липами набережной имени Днепровской Флотилии... Город еще ничего не подозревал. Но он уже вступал в новую эпоху, которая должна была освободить Пинск от мрачного титула «болотной столицы»...

В Белоруссии много болот. Треть ее территории избыточно увлажнена. Она главная обладательница крупнейшего болотного массива в Полесской низменности. Вместе с украинской частью это целая страна — 132 тысячи квадратных километров — территория, равная четырем таким странам, как Нидерланды. А центр этой страны — знаменитые Пинские болота, те самые, которые так напугали Наполеона, назвавшего их уважительно «пятой стихией».

Полесье, может быть, самое тихое место на планете. За всю историю Земли здесь никогда не гремели вулканы, не бесновались землетрясения. Море простиралось на этой части материка чуть ли не во все времена. Мелкое, слабосоленое, оно тихо лежало в голых песчаных берегах сотни миллионов лет. Еще до того, как жизнь благодетельствовала Землю.

А потом жизнь копошилась на мелководьях, пожирала сама себя, менялась, рождая все новых чудищ. Тяжелые испарения висели над гиблыми лесами. Из влажных туманов ползли на зыбкие берега колченогие переищавры, иностранцевии.

В других местах море то отступало, то заливало берега. Здесь оно было почти всегда, лишь временами отползая, оставляя множество озер и болот. Девонский период, каменноугольный, пермский, триасовый, юрский, меловой, третичный — никогда нынешнее



Полесье не изменяло себе. Оно осталось краем гигантских болот и в наш четвертичный период, каким-то образом устояв даже перед нашествием ледников...

Против такой родословной куда уж человеку! И человек принимал природу как она есть, ужасаясь ее вековечности и не веря в возможность перемен.

«Там киммериян печальная область, покрытая вечно влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет оку людей там лица лучезарного Гелиос... Ночь безотрадная там искони окружает живущих», — пел Гомер. Не об этих ли местах?.. Недоступность полесских болот рождала легенды о море, будто бы существовавшем здесь. О нем писал Геродот, его рисовал на своих картах Птоломей. Полесское море можно найти даже на средневековых картах. Географам в голову не приходила мысль о болотах на таких огромных пространствах, потому что в мире, который они знали, нигде ничего подобного не было.

Робость перед «пятой стихией» дошла до наших дней. «Свежему человеку, побывавшему в Белоруссии впервые, кажется, что здесь процесс отделения воды от земли еще не завершился вполне и продолжается до сих пор», — писал Е. де Витте в 1910 году. «Здесь обычны непроходимые болота даже в 500 кв. верст... Поселения людские среди них только на наносных песчаных холмах и то в малом количестве... Пройдут еще столетия, пока болота исчезнут окончательно и местность примет более культурный вид», — писал Е. Ф. Карский в 1903 году.

Какой же нужно обладать верой, чтобы бросить вызов этому заповеднику неустроенности! И какими возможностями!

С удивлением перед людьми, замахнувшимися на вековечное, я переступал порог «Главполесьеводстроя», которому предстояло стать главным штабом наступления на болота Полесья.

На этажах было тихо: организация еще только организовывалась. Лишь в конце коридора швабрила пол уборщица, да на широком подоконнике сидел один-единственный человек, пускал из кулака такие клубы дыма, словно отбивался от комаров на дремучем болоте.

— Самусевич, если угодно, мелиоратор, — представился он, узнав о моем особом интересе к земельным проблемам.

— Рядовой? Или начальником будете?

— Мелиоратор, — повторил он.

И мы разговорились о земельных проблемах.

...Мелиоративные работы в этих местах впервые были начаты в 1873 году. До Октябрьской революции удалось осушить лишь две тысячи гектаров. А за два с лишним десятилетия Советской власти — до 1941 года — у болот отвоевали 85 тысяч гектаров.

Перед самой войной ученые составили план комплексного использования водных и земельных ресурсов, строительства водохранилищ. Но война не оставила от плана ни одного листочка. Пришлось ученым в 1949 году начинать все сначала.

К 1966 году в Полесье было осушено уже больше миллиона гектаров болот и заболоченных земель. А «Главполесьеводстрою» всего за пятнадцать лет предстояло осушить почти три миллиона гектаров. Да еще переустроить многие старые системы. Объем земляных, бетонных и железобетонных работ — миллиарды кубометров. На все это государство выделило четыре миллиарда рублей. И все эти рубли, до единого, вернутся в Государственный банк еще до того, как строительство будет закончено. Ведь в Полесье, как шутя говорят местные жители, если воткнуть в землю палку, вырастет виноград. И действительно, вызревает виноград в южных районах Полесья. А все остальное растет не хуже, чем где-нибудь в Дании, например. На осушенных землях будет создано 82 новых совхоза. И у каждого — десятки тысяч гектаров такой земли...

В тот раз я будто впервые увидел Полесье все сразу, с его сонным прошлым и светлым будущим. Полесье лежало передо мной, как в волшебном зеркале. Я видел длинные жилки дорог, проложенные сквозь аккуратные поля, по которым катились волны, подобные морскому накату. Мосты над тихими реками в высоких насыпных берегах. И медлительные стада на просторных лугах, окаймленных пушистыми перелесками. И голубые пятна водохранилищ с белыми кубиками насосных станций. И трубы заводов над городами, разлегшимися по горизонту...

Я рассказал мелиоратору об этом представившемся мне Полесье будущего. И к своему удивлению, взволновал его.

— Вот правильно, так оно все и будет, — подтвердил он.

Воодушевленный успехом, я начал говорить о других местах, где приходилось бывать, об электростанциях, выросших на глухих торфяниках, о заводах, возникших на загородных пустырях, об искусственных морях и новых поселках на береговых кручах...

— Эх, походить бы по земле! — вздохнул он. — Пройти бы разом через всю страну, от моря до моря. В отпуск, например. Поглядеть бы: как она — земля, как они — люди на земле?

— От моря до моря, как «из варяг в греки»?

— Хотя бы. Интересно же.

— Отпуска не хватит.

— Сколько хватит. А нас все на пляжи тянет, в дома отдыха. Лежим неделями, животы греем.

— В чем же дело? — сказал я, замирая от давней, полузабытой решимости. — Давайте вместе?

Он всосался в сигарету, в один миг превратил ее в серую палочку пепла, выпустил тугой, непроницаемый клуб дыма, деликатно помахал перед собой огромной ручищей и задумался.

— Хорошо бы, — наконец сказал он. — Только ведь жене обещал. И дочка на юг просится... Давай уж один. Вы, журналисты, полегче на подъем...

В то лето шестьдесят шестого года я еще долго пробыл в Пинске, выполняя редакционное задание. Но разговор с мелиоратором все не выходил из головы. Ведь это действительно мое журналистское дело, даже обязанность — ездить да изучать жизнь, узнавать: как она — земля, как они — люди на земле?

...И с каждым днем все острее вспоминалась одна моя старая, давным-давно забытая мечта.

### ПЕРЕПУТАНИЦА ПУТЕЙ

Мечта была именно эта — пройти древним путем «из варяг в греки». Пройти по-настоящему. Чтоб были и речные стремнины, и волоки, и медведи в прибрежных чащах.

Весной, когда наша тихая Костромка разливанным морем подступала к городской окраине, мы с приятелем сбегали с уроков, забирались на железнодорожную насыпь, которая одновременно служила дамбой, и подолгу глядели на сверкающую гладь с перелесками по горизонту и темными конусами далеких стогов. И замирали от неистового желания уйти, уплыть в эту даль. Мы еще не проходили в школе ни Васко да Гамы, ни Кука, ничего не знали о русских землепроходцах. Но о пути «из варяг в греки» каким-то образом были наслышаны. И если мечтали о путешествиях, то в первую очередь об этом, с таким интригующим названием, как загадка или присказка.

Кажется, классе в пятом я начал было всерьез готовиться к путешествию. Захлебываясь в мутной воде Белилки (так называли фабричный пруд), упорно учился плавать по-собачьи. Когда освоил этот стиль, возгордился и сколотил плот из трех кривых жердей.

Потом в жизни много было всяких плаваний, поездок, походов. Но то запомнилось, как самое рискованное и таинственное. И теперь, спустя много лет, я продолжаю верить, что первым мореплавателям было ничуть не страшнее уходить в открытый океан.

Меж жердочек виднелся лес водорослей, полный жизни, такой же неведомой для меня, как затаившиеся джунгли Филиппинских островов для матросов Магеллана. Плотик попадал в заросли осоки, острые ножи-листья доставали голые пятки, и мне приходи-

лось бороться со страхом, подступавшим к горлу. Случалось, зыбкий корабль выплывал на середину, откуда мне ни за что бы не доплыть до берега. И тогда я чувствовал себя человеком, затерянным в океанской безбрежности. Не утешали даже звучные шлепки, доносившиеся с берега, где бабы полоскали белье. Скорее, они угнетали, напоминая шлепки более понятные и совершенно определенные.

Кончилось все это банально и прозаично: плотиком истопили печку, штаны зашили, и мама провела со мной разъяснительную работу. Но ее аргументы как-то не запомнились. Больше остались в памяти слова соседа дяди Коли, логично и последовательно доказавшего безрассудность и бессмысленность в XX веке рискованных дальних путешествий.

Мне было очень грустно от этих слов. Но дядя Коля был взрослым, авторитет его не подлежал сомнению. Поэтому я забыл о дальних дорогах и увлекся всеми поощряемым доходным промыслом: ловил рыбу для кошки...

А потом началась война, и от моих детских увлечений не осталось следа. Так по крайней мере думалось многие годы. Тяжелые и радостные, светлые и тревожные — всякие.

И вот настал день, когда я до слезной тоски, до отчаяния понял: мечты не умирают. Я часами простаивал перед географической картой, всматриваясь в синие ломаные жилки рек: где он, этот легендарный путь «из варяг в греки»?

Думаете, просто ответите на вопрос? Попробуйте найдите на карте ту единственную торговую дорогу. Ни за что не найдете! Потому что не было единственной. Существовало множество водных путей, по которым товары текли из Прибалтийских стран в Причерноморье и далее в Грецию, Сирию, Египет. Чуть ли не каждая речка Европы могла бы претендовать на роль хотя бы тропки на этом пути...

— А что его искать? — как-то сказал мне один приятель. — В прошлом году сам прошел этим путем.

— Из «варяг в греки»?

— Теперь его называют иначе: «из Балтийского моря в Черное». Из Ленинграда по Неве, затем по Волго-Балту, Волге, Дону. Как раз до Азовского моря...

После этого разговора я по примеру всех путешественников засел сначала за книги. В результате выяснил любопытную деталь: путь «из варяг в греки» — вовсе не привилегия древности, он существовал во все века.

Взять хотя бы самый восточный из известных путей. Когда-то в древности по Волге, или, как ее тогда называли, Итилю, велась бойкая торговля. Она не прекращалась даже в мрачные времена монгольских нашествий.

Новые идеи, связанные с Волгой, зародились в голове Петра I. Он первый увидел грандиозные возможности реки и вознамерился соединить Волгу каналами с Ладожским озером и с Доном, чтобы создать таким образом сквозную водную артерию через всю Россию. Петр I, как известно, не жалел крепостных ради осуществления своих целей. Но ничего не мог сделать. Мечта коронованного преобразователя частично осуществилась лишь через сто лет, когда была построена Мариинская водная система, соединившая Верхнюю Волгу с Онежским озером.

В прошлом и начале нынешнего века над водным путем нависла угроза. О ней с беспокойством говорили ученые и буквально кричали гудки пароходов, севших на мель. Волга мелела: сказывались массовые вырубки лесов в ее бассейне. Пароходы, поднимавшиеся снизу, уже не могли пройти выше Рыбинска, и этот город стал приобретать славу крупнейшего перевалочного пункта — столицы бурлаков. Сюда со всей России ехали грузчики на заработки. Выше Рыбинска шли только небольшие плоскодонные баржи. И на Мариинке было нелегко: частое шлюзование задерживало транспорт. Шкипер мог успеть сходить в гости в соседнюю деревню, а потом пешком догнать свой корабль.

Какими же достоинствами должен обладать нынешний реконструированный Волго-Балт, если даже старая Мариинка считалась выгодной!

Известна точная дата открытия этого первого глубоководного пути поперек Европы — 7 июня 1964 года. В тот день у третьего гидроузла на реке Вытегре был поднят голубой атласный стяг. По Волго-Балту и Волго-Дону, по водохранилищам реконструированных рек началось сквозное движение судов водоизмещением до пяти тысяч тонн. Великий торговый путь сразу же стал международным. По нему пошли танкеры в Финляндию, рудовозы в Германскую Демократическую Республику. Некоторые фирмы прибалтийских стран предпочли отправлять по нему свои грузы в страны Ближней и Центральной Азии, отказавшись от долгого плавания вокруг Европы.

Чем не путь «из варяг в греки»?..

И на западе Европы строится новая водная дорога через материк. У нее тоже история, уходящая в глубокую древность.

Свыше тысячи лет назад люди обратили внимание на завидную близость притоков Рейна и Дуная. В конце VIII века Карл Великий попытался даже соединить каналом эти два бассейна. Приходится удивляться его смелости. Ведь в то время еще ничего не знали о шлюзовании и представления не имели о насосных станциях.

Прошло почти десять веков, прежде чем идея канала Рейн — Майн — Дунай снова стала обсуждаться в государственных сфе-

рах. И снова безуспешно. На этот раз инженеры-гидротехники знали, что делать. Но преодолеть десятки таможенных барьеров (Германия была разделена на многочисленные мелкие государства) они не смогли.

Наконец за дело взялся Наполеон. Он оценил стратегическое значение внутриконтинентального водного пути и распорядился начать строительство. Но грандиозные стройки — дело не быстрое. Прежде чем был вырыт первый километр, Наполеон попал на остров Святой Елены, а его империя прекратила свое существование.

Однако идея канала уже крепко сидела в головах тогдашних государей. Предприимчивее других оказался баварский король Людвиг I, чем и увековечил себя. Людвигский канал длиной 178 километров был готов к середине прошлого века. В 1850 году по нему было перевезено почти двести тысяч тонн грузов — цифра по тем временам ошеломляющая.

Прошло еще сто лет. И снова на водораздел Майн — Дунай пришли строители. Новый век потребовал более крупного канала. Когда его построят, от Черного моря до Северного, через весь континент, смогут ходить суда водоизмещением до 1500 тонн. Порты Советского Союза, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии, ФРГ, Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии будут соединены прямым водным путем.

Он будет, по-видимому, не единственной трассой, по которой из Дуная можно попасть в моря, омывающие Европу с севера. Специалисты Чехословакии уже разработали проект 438-километрового канала, соединяющего бассейны Дуная, Вислы, Одры и Эльбы в единую водную систему. Она будет иметь особенно большое значение для стран Восточной Европы. Подсчитано, что в 1980 году, когда, по предположениям, завершится строительство, по ней перевезут грузов в 20 раз больше, чем по ныне действующим водным путям. И получат миллионы киловатт электроэнергии. И оросят сотни тысяч гектаров пашни. И создадут значительные запасы пресной воды.

Вот какой размах у наших современников, осуществляющих древнюю мечту о бесперевалочном водном пути через материк.

И вот когда я понял, почему путешественники начинают с библиотек. Ты носишься со своей мечтой, мнишь себя первооткрывателем, думаешь потрясти мир новыми географическими идеями. А копнешь книжную залежь и из первооткрывателей сразу попадаешь в «последнеоткрыватели»...

Говорят: надежды юношей питают, отраду старым подают. Я ни то ни другое, как раз где-то посередине. Поэтому без особой надежды и отрады, но с упрямством консерватора ринулся на новый штурм библиотечных полок, рассчитывая найти-таки

хоть какую малоизвестную, забытую путь-дороженьку. Но везде было все то же «многопутье» и те же попытки возродить путь «из варяг в греки». Одни источники уверяли, что купеческие ладьи некогда плыли по Неве, Волхову, Ильмень-озеру, реке Ловати через «страшные» волоки попадали в Днепр. Другие свидетельствовали, что историческая водная дорога проходила по Западной Двине, Неману, Припяти. И все были правы. И там и тут торговые пути «выстолблены» тысячами безвестных могильных курганов. Недаром же эти дороги в старину называли многострадальными. Диву даешься теперь, в XX веке, думая о том, какими неистовыми были надежды наших предков, толкавшие их в столь опасные путешествия.

Волоки были самыми страшными местами для купцов. Здесь поджидали разбойники, здесь требовалось нечеловеческое напряжение сил и нервов. Вот почему мечта о канале через «перевал» не оставляла людей в течение веков. Ее начали осуществлять в середине XVIII столетия. В полесские болота, туда, где приток Немана — река Щара близко подходит к притоку Припяти, Ясельде, были согнаны тысячи крепостных. Они рубили просеки, лопатами копали канал. Но не сравнивали уровни вод Неманского и Днепровского бассейнов. И через 33 года каторжного труда строительство пришлось прекратить. Но ненадолго. Уже через десятилетие нашелся богатый человек — крупнейший в этих местах землевладелец Огинский, сообразивший, какие выгоды может принести канал. Вновь тысячи крепостных взялись за лопаты. Они углубили канал, построили деревянные шлюзы, подпорные плотины. В 1804 году по каналу длиной 52 версты поплыли баржи. Так был создан этот сквозной водный путь через материк, от моря до моря...

После всех этих открытий я долго изучал карту, соображая, какая же из водных дорог наиболее соответствует моим впечатлениям о легендарном пути. Решил, что последняя — через Неман, Припять и Днепр. Потому что, как мне казалось, только на ней можно встретить «нехоженые» дебри, например в Полесье. Потому что она и перспективная. Ведь здесь как бы «талия» Европы, наименьшее расстояние между Балтикой и Черным морем...

## У МОРЯ

Моя большая дорога через материк началась в медлительном поезде. Ну не обидно ли: от Москвы до Вильнюса скорый поезд идет одну ночь, а до Клайпеды, хотя от нее до Вильнюса каких-нибудь пять сантиметров по карте, надо тащиться около полутора суток. Поезд останавливался, казалось, у каждого столба,



подолгу журчал под откос белым паром, набирался сил перед очередным пробегом.

— А что вы хотите? — объясняла проводница. — Мы пассажирские, обслуживаем все станции.

Наконец рано утром поезд остановился у маленького вокзальчика на окраине Клайпеды. Тяжело шумели сосны под могучим ветром. На небольших высоkokрыших домиках полоскались красные флаги.

Я нес свой рюкзак по уютным улицам Клайпеды с гордостью первого землепроходца. Глядел по сторонам и никак не мог понять: что же непривычного в этих улицах. Наконец сообразил: дома стоят не так, как повсюду, не фасадами к тротуарам, а торцами. Старые дома, с высоко поднятыми готическими крышами, и наши современные, с окнами, спрятанными в густой листве. А между ними малюсенькие уютные кафе, магазинчики, мастерские.

Через час, оставив рюкзак в гостинице, я вновь ушел в узкие старые улицы с необычными названиями — Булочников, Сапожников, Слесарей, Рыбаков. Как и везде, здесь теперь живут люди разных профессий. Но старые названия сохранены как память о ремесленниках, некогда обитавших в этих улицах. И за эту маленькую дань уважения к прошлому город платит ароматом старины.

Пожалуй, не найти другого портового города со столь своеобразной историей. Почти семь столетий, будучи литовским, он не принадлежал Литве. Важнейший порт Балтики, значение которого всегда оценивалось весьма высоко, до середины нынешнего века фактически не имел своего флота. Город, с древнейших времен призванный быть маяком у ворот одного из крупнейших водных путей в глубь материка, сотни лет был замком на этих воротах. За эти места велась непрекращающаяся борьба с тех самых пор, когда в 1252 году крестоносцы ворвались сюда, изгнав местных жителей — жемайтійцев.

На Клайпеду зарились все — от миссионеров папы римского до оккупантов Антанты. Ее пытались онемечить, офранцузить, превратить в «вольный» город. Иногда литовскую принадлежность Клайпеды защищали чужие короли, свои же феодалы и буржуа не раз ее предавали. Последний мрачный период в истории города начался весной 1939 года, когда фашистское правительство тогдашней Литвы «возвратило» Клайпедский край Германии, и кончился морозным январским утром 1945 года. В тот день советские войска вернули Клайпеду литовскому народу...

Осматривая город, я вышел на площадь, посреди которой в окружении высоченных лип стояла на пьедестале противотанковая пушка. «Площадь Победы» — прочел на белой табличке. И обратил внимание на знаменательное сочетание названий:

улица Ленина и улица Геркуса Мантаса, одного из первых литовских борцов за свободу, возглавившего восстание пруссов против крестоносцев во второй половине XIII века, соединялись на площади Победы.

В скверике возле памятника-пушки скрипели детские коляски. За густой листвой сверкали отраженным солнцем фары автомобилей. Откуда-то из-за крыш время от времени слышались хриплые вскрики сирен.

Потом я отправился к реке Данге, на тихой воде которой лежало множество неподвижных поплавков рыболовов-любителей.

«И когда в рассвете синем-синем над тобою пешеход придержит бег, расскажи ему, что он красивый, он прекрасный, этот человек», — вспомнились стихи Межелайтиса о Данге.

Но вот и конец реки. Дальше, за проливом, в нескольких сотнях метров от меня, стеной стоял заросший сосняком берег. Вправо и влево, насколько было видно, загораживали пространство черные борта барж, порталные краны, высокие надстройки морских теплоходов. На некоторых еще покачивались на ветру флаги и транспаранты недавнего праздника.

Праздник этот объединенный. Так уж совпало, что в одно время празднуется День рыбака, День военно-морского флота и День присоединения Литвы к союзу равноправных советских республик. Вот почему нигде не бывает такого Праздника моря, как здесь, в Клайпеде. Шествие Нептуна по улицам города, парад кораблей, карнавалы, соревнования, фейерверки...

И наверное, еще потому так торжествен этот праздник, что отражается в нем многовековая мечта литовского народа о море.

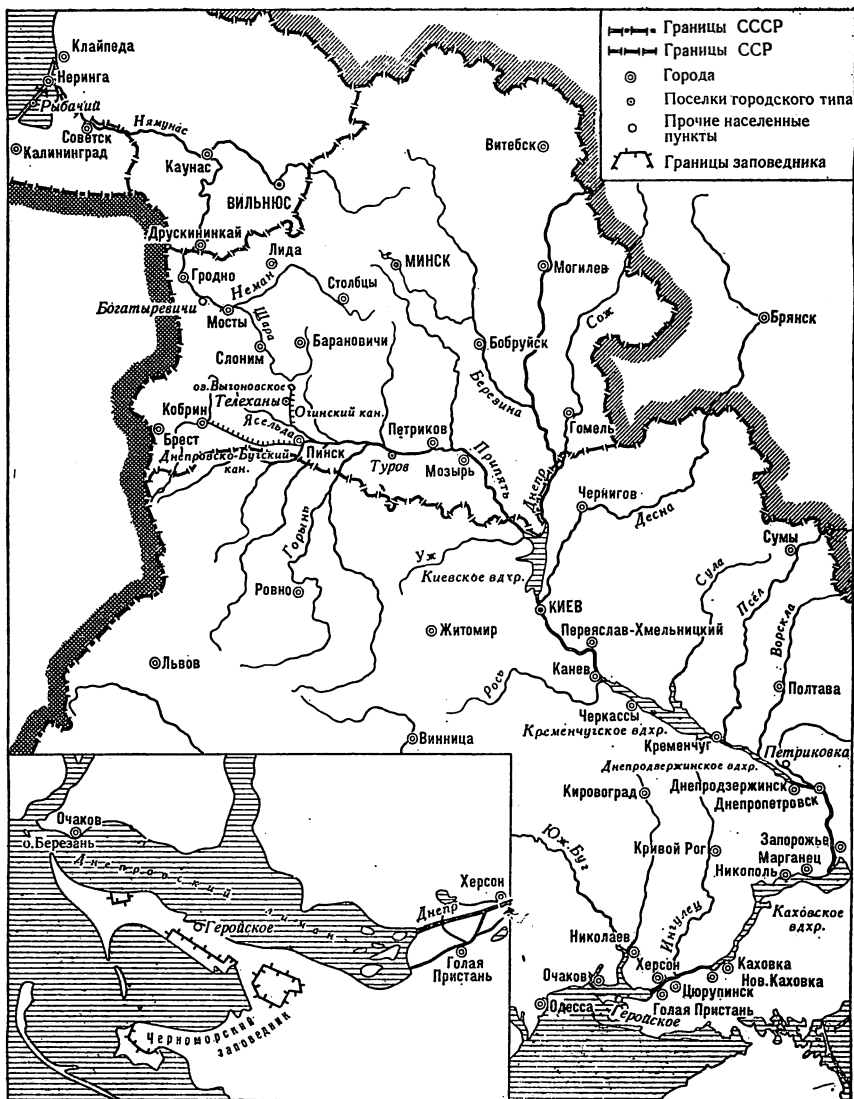
Да, именно так было много веков: народ, живший у моря, не имел ни одного своего порта. Литва по-настоящему получила выход к морю только в сорок пятом году, когда разгромили фашистов. В тот день окончательного освобождения от фашистов в Клайпеде было всего шесть человек гражданских лиц. Сейчас в городе живет сто сорок тысяч человек. Построены новые заводы, судостроительные верфи, рыболовный и торговый порты...

— Как выйти к морю? — спросил я у пожилого рыбака, удившего в устье Данге.

— А вон если туда плыть, — неопределенно ответил он. — Туда гляди, вправо, за мачты. Видишь белую дымку? Там и есть Балтийское море, самое настоящее.

— А где можно выйти к морскому берегу?

— Трудно, — сказал рыбак. — У Клайпеды, считай, и нет таких мест, как, скажем, набережная в Сухуми. Не думали об этом прежде. Потом сделают. А пока можно поехать на Курскую косу, на пляж. Или поезжайте-ка вы в Палангу. Время почти то же, зато уж там море — лучше не придумаешь...



За час автобусом я добрался до уютных аллей Паланги.

Море лежало под ногами, тихое и светлое. И не понять было, где кончается море и начинается небо.

Далеко в белесую дымку змеей уползала узкая эстакада. По ней гуляли люди, уходили на самый край, подолгу стояли там, смотрели издали на белые дюны.

Курортные города обычно отличает размеренный шум неторопливых толп. Палангу отличает тишина. Она в шепоте сосен на берегу, в тихом скрипе песка под ногами, в слабом шорохе волн, обессиленных долгим бегом по мелководью. Даже говор людской здесь тихий, без южных восторгов. Люди поодиночке бродили по сумрачным лесным дорожкам у моря. Или шагали по мелкой воде, высоко, по-журавлиному, поднимая ноги, рассыпая солнечные блики. Или ходили по берегу, уставившись в песок, — искали янтарь, выброшенный морем...

Весь этот день был тихий, умиротворенный. А вечером, в Клайпеде, я услышал за домами далекий стон.

Почти бегом я поднялся в номер и позвонил администраторше.

— Где кричат? — тревожно переспросила она. Замолкла, прислушиваясь, и вдруг мягко и нежно засмеялась.

— Это ревун. Туман на море, вот он и кричит...

Ревун стонал всю ночь. Тягостный крик его то удалялся, то подступал к самым окнам. Я часто просыпался, глядел на выбеленные рассветом прямоугольники окон.

Когда проснулся окончательно, серый день уже глядел сквозь прозрачные шторы. Радио в коридоре мурлыкало литовскую песню, тягучую и грустную, похожую на одну из старинных жалоб русских ямщиков.

Я слушал стон ревуна, и незнакомая песня, передаваемая по радио, складывалась в слышанные где-то слова: «Лайма звала, Лайма кричала, через гору бежала босая. Рыбаков трех Лайма увидала над морской волной: «Вы ходили в море синее, не видали ль брата моего?»...

Нелегка была жизнь рыбаков в прошлом. Уходили в море на утлых лодчонках и часто не возвращались. Да и можно ли было говорить о надежном рыболовном флоте, если весь флот Литвы в 1938 году имел одиннадцать кораблей. К 1945 году не осталось ни одного. Первенцами послевоенного литовского рыболовного флота стали девять маленьких трофейных минных тральщиков, наскоро переоборудованных и снабженных орудиями лова. Сейчас к Клайпеде приписано свыше 400 судов. И каждое неровня довоенным маломеркам. Только плавбаза «Советская Литва» и транспортный рефрижератор «Шторм» перекрывают по тоннажу весь литовский флот 1938 года. До войны литовские рыбаки

добывали 26 тысяч центнеров рыбы. А теперь — около четырех миллионов...

В тот день я снова отправился к Данге, чтобы сесть на теплоходик, идущий на другую сторону пролива, к причалам единственной в стране лаборатории электролова.

Электролов теперь широко известен. И все же он остается сенсацией, способной обеспечивать прессу оригинальной информацией еще много лет. Электролов — первая ласточка долгожданного переворота в рыболовстве, этом почти самом древнем человеческом деле, необычайно консервативном, принципиально не менявшемся едва ли не с каменного века. Тогда люди ловили рыбу сетью — и теперь тоже. Тогда надеялись на «авось» — и теперь хороший улов почти случайность. Давным-давно от собирания плодов человек перешел к земледелию, от охоты — к скотоводству. А в рыболовстве мы до последнего времени оставались на уровне древних охотников, хотя и оснащены мощной техникой...

Теплоходик, тихонько похлопывая, вышел в пролив, оставив позади сплошную стену паровых бортов, и, добравшись до простора, словно сорвался, завыл и пошел направо, в сторону моря. Клайпеда все удалялась, растворялась в белом тумане. Сосны Курской (по-литовски — Куршской) косы все поднимались, пока не взметнулись великанами на пологих буграх, покрытых неровной зеленью. Вскоре слева открылся небольшой заливчик, тихий и уютный, словно деревенский прудик. И только груды огромных бетонных пирамид, наваленные на берега, напоминали о том, какие стихии бушуют здесь в иную пору.

Причалили к низким дощатым мосткам. От них вверх на горюшку вела узкая лестница, упиралась наверху в белое двухэтажное здание. Я пошел по этой лестнице, оглядываясь на тихую воду с призрачными силуэтами судов в плотном тумане, слушая близкий стон ревуна. Чувствовалось присутствие чего-то таинственного, загадочного. Может, сказывалось влияние этого неожиданного сочетания понятий — рыба и электричество?..

Мне и прежде приходилось встречаться с проблемой электролова. Несколько лет назад на Рыбинском водохранилище сотрудник Института биологии внутренних вод Владимир Алексеевич Шеняков, помню, рассказывал, что еще в конце прошлого века ученые заметили у рыб «анодную реакцию». По причинам, до сих пор не выясненным, рыба стремилась к положительному электроду. В 1901 году в России была изобретена первая электрическая удочка, использовавшая эту «любовь» рыб к аноду. В 1933 году в Советском Союзе были созданы первые в мире промышленные установки и устройства для лова рыбы с помощью электричества. А еще через одиннадцать лет советские ученые впервые примени-

ли бессетевой способ электролова; при этом в качестве анода был использован раструб рыбонасоса. Этот способ за границей так и называют — «русский».

В тот раз, после рассказа Шентякова, я нобывал на траулере «Амур» — первом судне, построенном специально для электролова. Капитан Николай Васильевич Трусов показал мне свое необычное судовое хозяйство: дизель-генератор, трансформатор, электроизмерительный щит управления, кабельную лебедку-балку, автоматику отключения тока и главную достопримечательность — электрическую подбору. Подборой назывался специальный кабель, укрепленный в нижней части трала.

— Можем только щук ловить, или карасей, или что захотим, и только больших — не мальков,— рассказывал капитан.— Отлавливаем ту рыбу, которая нам нужна. Не ловим, а именно отлавливаем...

И весомым доказательством его слов шлепались на палубу неподвижные, ошалевшие в электрическом поле судаки с руку величиной и лещи, громадные, как портфели, необычно одинаковые, словно там, под водой, кто-то измерял их линейкой, прежде чем сунуть в сеть.

Этот хитрый трал был изобретен Шентяковым после огромного количества опытов с рыбами в аквариумах Института биологии внутренних вод. А здесь, в Клайпедде,— специальное оборудование, огромный бассейн для экспериментов.

Я ожидал увидеть бассейн вроде небольшого плавательного. А увидел огромное прямоугольное озеро, в котором можно не то что плавать — устраивать гонки. Дальний край бассейна временами растворялся в тумане, полосами набегавшем с моря. В крутых бетонных откосах лежала серая вода. Над ней висела решетка передвижного моста, пустого и неподвижного: в тот день экспериментов не было.

Заместитель начальника лаборатории электролова Антанас Тракис рассказал, что в бассейн наливается до 30 тысяч кубометров воды и что длина его — 200 метров, а ширина — 30. Вода подается прямо с моря и постоянно обновляется, так что рыба чувствует себя в бассейне не хуже, чем на морском дне. Пока не включается ток.

Рыбам такая «электрификация» не нравится. Они оцетиниваются, тычутся носом во все стороны, будто ищут причину беспокойства. Потом напрягаются, движутся медленно, как связанные. При усилении тока переворачиваются кверху брюхом, а некоторые даже закатывают глаза. Наступает так называемое шоковое состояние. Но это не смерть. Если рыбок освободить от электрических пут, они будут вести себя точно так же, как контрольные.

— В пресных водоемах используется переменный ток, — говорил Тракис. — В море годится только постоянный: электропроводность у морской воды в сотни раз выше, чем у пресной. Для создания электрического поля в морской воде требуется огромная мощность. Чтобы получить ее, пришлось бы все трюмы корабля забить генераторами. А куда девать улов? Тоже была проблема. Потом выяснили, что импульсный ток действует не хуже.

Сейчас бессетевой способ лова уже существует. Ярким светом рыбу подманивают, электротоком направляют ее к раструбу рыбоасоса. Вот и все. Вроде просто, а сколько понадобилось опытов! Лишь в 1964 году впервые удалось провести успешные эксперименты непосредственно в море. Научное судно «Неринга» в Средней Атлантике с помощью ловушек и ламп длительное время получало устойчивые уловы сардинеллы и скумбрии. Там же на промысле новый способ лова сразу был использован нашими рыбаками. А теперь кто только им не пользуется! Теперь он вроде бы и не новинка...

Мы долго ходили по бетонным берегам, перешагивая через ящики, провода, сети, большие алюминиевые поплавки с изящной опояской, напоминавшие модели планеты Сатурн. Черный кабель змеей перекидывался со столба на столб и терялся в ящике возле передвижного моста.

— Электричество помогает промышлять и креветку. Всегда ее ловили по ночам: днем она зарывается в грунт. Мы пускаем кабель перед тралом и импульсным током выманиваем креветку из ила. Использование электролова по существу только начинается. А потом, может, дело дойдет до ультразвука и химических веществ. Но несомненно, рыбаки когда-нибудь научатся управлять косяками, и тогда рыба сама будет искать рыбаков...

Вот что рассказывал Антанас Тракис, теща надеждой на близкое изобилие в рыбном меню.

А над бассейном, над берегом все полз туман, и суда, стоявшие в проливе, казались призрачными «летучими голландцами».

### ДАЛИ НЕРИНГИ

В то утро на Балтике все еще лежал туман. Волнами он вползал в улицы и таял где-то в центре. Холодная сырость пробиралась в рукава, заставляя ознобливо потягивать спину. Я стоял на бетонной береговой плите у низенького маячка, обозначавшего вход в Данге, и последний раз глядел на море.



В проливе призраками темнели силуэты судов. С моря доносился стон ревуна, долгий, прерывистый, рвущий душу.

— Скоро ли? — крикнули с лодки, в которую я напросился, чтобы попасть в самое сердце Куршю Неринги — Курской косы, к ее знаменитым дюнам.

Я спустился в лодку, уселся на влажную скамью.

...Стони, ревуны! Я не поплыву к тебе: моя дорога в другую сторону, туда, где голубые реки, тихие сосны, где на гудки пароходные брешут собаки в селах, где плеск волны перемешан с песнями деревенских девчат. Стони, ревуны, тяни моряцкие души, наматывай их на клотики! Там, в другой стороне, тихие маяки...

Никак не предполагал, что Клайпеда такая большая. Мы плыли вдоль низкого правого берега, в корнях и корягах, а за проливом все тянулись силуэты судов, шеренги кранов, темные пасти доков, ряды белых домов. Потом круто свернули за мыс, и Клайпеда начала быстро растворяться за кормой в белесой дымке, скрывавшей горизонт.

В заливе дымка растаяла. Далеко видная вода лежала неподвижным серебряным расплавом. Над ней в небесной вуали белым пятном висело солнце. Справа полого поднимался песчаный берег. А мы плыли посередине этого замороженного мира. Плыли навстречу приключениям. Я твердо знал: приключения будут. Они обязательно случаются, если их искать. Правда, иногда нечто похожее бывает и с теми, кто не ищет. Но это уже не приключения, а просто беда или удача...

Простучали навстречу две такие же, как наша, лодки. Вынырнула из далекой дымки «Ракета», белым миражом пролетела мимо и растаяла впереди, не оставив волн. Справа все тянулся берег, то голый, песчаный, то лесистый, то с камышовыми зарослями под редкими ивами. Берег Куршю Неринги — Курской косы.

Я знал об этой косе многое. И что длина ее — больше ста километров, а ширина местами — на пять минут пешего хода. Что люди впервые поселились здесь десять тысяч лет назад. Что поныне стоит на косе вилла Томаса Манна.

Я плыл мимо берега, но будто шел по нему. Ибо однажды уже проезжал здесь и многожды мысленно путешествовал по косе в тихом шорохе читальных залов.

...Белые дюны в редких кустиках сухой травы. Сосны, склоненные под ветром, как колосья в поле. Остатки старых крепостей и недавних дотов. Приземистые домики рыбаков с лодками у самых дверей. Широкие окна пансионатов. Влажная прохлада болотистых низин и сухой зной раскаленных песков. Тяжелый грохот моря, слышимый местами на другом берегу косы, у тихой

воды залива. И названия неожиданные и красивые: долина Медвежья Берлога и гора Медвежья Голова (хотя медведей тут никто не помнит), Долина любви и Янтарная бухта, Гора серых аистов, Гора грехов, Гора Евы...

В поселке Юодкранте сделали остановку, и я отправился смотреть знаменитый Юодкрантский лес, что раскинулся рядом на холмах. Юодкранте — значит «черный берег». Издали это место действительно казалось черным из-за густого леса, росшего на косе. Высокие сосны стояли словно солдаты на смотру, гладенькие по всему стволу, разливали в воздухе смоляной настой. Дубы росли по соседству с липами и осинами. Где-то здесь стояла прежде «липа грехов». В древности ей поклонялись, а потом просто увешивали цветами в память о старом обычае. Теперь от «липы грехов» осталось лишь название: дерево срубили гитлеровцы.

Лес напоминал и глухомань и городской парк одновременно. Это не удивляло. Юодкрантский лес — единственный на косе уцелевший от топора в прошлые века. А одомашнивали его аккуратные тропы-аллейки: Клайпедская, Купальная, тропа Дюн...

Потом по Лесной улице я вернулся к берегу, и мы отправились дальше. Солнце уже хорошо грело сквозь белесую дымку неба. Светлый залив будто раздвинул свои горизонты, ясно показывая далекие рыбацьи лодки. Лес на берегу отступил в глубь косы, и сразу обнажились желтые песчаные откосы. Они то опускались, то поднимались, будто застывшие волны. Начиналась «прибалтийская пустыня» — пески Курской косы.

Меня высадили у подножия одной из дюн, и я пошел торопливо по ее сыпучему склону. Дюна оказалась намного выше, чем выглядела снизу. Почти на четвереньках я вполз на ее вершину и остановился там, забыв вытрясти песок из ботинок. Передо мной была пустыня. Настоящие барханы громоздились друг на друга, сверкая белыми склонами. Всюду лежала неисхоженная, первозданная песчаная зыбь. А внизу, в пятидесятиметровой глубине, нежилась синий залив.

Вот они какие, прибалтийские пески! Я много читал о них и все же, увидев, оторопел. Они были не только величественны, они были страшны своей обширностью, затаенностью неведомых сил.

Пески эти — живой аргумент в многолетнем споре радетелей природы с любителями бесцеремонности.

Известно, что природа один раз сумела обуздать пески, покрыла косу густым и красивым лесом. Трудно сказать, сколько тысячелетий понадобилось ей на эту работу. Люди свели леса за считанные годы. Особенно сильно пострадала коса в XVIII веке, за время Семилетней войны. Оголились пески, пересохли. И буйные прибалтийские ветры быстро начали создавать пустыню.

Дюны громоздились, как горы, двигались, хоронили под собой дороги, селения, остатки растительности. Карвайчяй, Сенейи и Науейи Нагляй, Сенейи и Науейи Пилкопай, Сенасис и Науясис Лотмишкис, Сенейи Кунцай — вот скорбный список рыбацких поселков, погребенных под кочующими дюнами.

Весной, когда в низинках еще лежал снег, подсохшие верушки дюн уже начинали пылить. Тучи, но только не небесного, а земного происхождения, неслись низко, засыпали дороги, фарватеры в заливе, угрожали Клайпедe. Сохранились подсчеты 1880 года, когда только на двухкилометровый участок дороги ветер нанес одиннадцать тысяч кубометров песка.

Местные жители приспособивались, как могли: перевозили деревни с места на место, устраивали двойные входные двери. Если за ночь песок заносил вход, то выбирались через верхнюю половину дверей.

Бывало, что дюны не просто сползали — обрушивались. Так случилось в августе 1922 года, когда 50-метровая гора ухнула в залив, взметнув штормовые волны и огласив окрестности грохочущим эхом...

Люди выпустили джинна. Люди же попытались упрятать его обратно. Но сделать это оказалось невероятно трудно.

Бедствие надвигалось столь стремительно, что уже в 1768 году Данцигское общество естествоиспытателей занялось поисками средств борьбы с подвижными песками. Был объявлен конкурс, в котором победил профессор Тициус, предложивший «простой и дешевый способ» обуздать пески: восстановить леса. Да, тогда им это казалось просто и дешево. Наивные, они думали, что джинн сам залезет в бутылку. Как в сказке.

Но сказки не вышло. Легко было лихим военным: раз, два — и голо. У гражданских «раз, два» не получалось. Требовались усилия, длительные, почти титанические. Это поняли довольно скоро. Людей, сажавших деревья, стали почитать в народе, как спасителей.

А западные штормы наваливали на косу все новые горы песка. Их надо было останавливать. Люди приступили к строительству «оборонительного вала» против стихии. Вдоль моря они ставили заборчики. Когда заборчики заносило, ставили новые, вторым этажом. За сто лет образовалась многокилометровая стена высотой до 10 и шириной до 80 метров. Оплетенный корнями деревьев, укрепленный хворостом и камышом, этот вал сдерживает песчаные потоки, защищает дороги и поселки...

Легко было вырубить лес. Но еще и поныне, двести лет спустя после Данцигского конкурса, пески не обузданы. И теперь «ведут хоромы песчаные волны». И еще поражает воображение тишина Долины смерти, где сами собой вспоминаются сетования

местного поэта Людвикаса Резы: «Здесь ты, прохожий, увидишь руку опустошения!..» Если бы нашелся человек, подсчитал стоимость дров, полученных от вырубki местных лесов, и затраты на их восстановление да сравнил бы эти цифры в назидание потомкам! Впрочем, все ясно и без расчетов...

Сейчас коса объявлена заповедной зоной. Здесь ограничено движение, и даже туристам разрешено ходить только по определенным маршрутам. Меры эти необходимы, ибо иначе подвижные пески никогда не закрепить. Теперь молодые посадки здесь повсюду. Слабые сосенки вздрагивают на ветру, но все же тянутся к солнцу. За этим «первым эшелоном жизни» на бесплодных песках видны кустики травы, а чуть дальше уже и песок не песок, а вроде как песчаная почва.

Стараясь не наступать на траву, я пошел поперек косы к морю. До него было совсем близко, оно сверкало в прогалинах леса, стоявшего в глубине косы.

Берег был пуст и гол, как в первый день творения. Волны далеко в море вставали на дыбы и, потрясая пенными гривами, шумно бежали к берегу. Не добежав десяти метров, они падали и, униженные, расплющенные, ползли к моим ногам. Хорошо было на берегу! Может, потому, что, как уверяют медики, шум моря успокаивает, а запах оздоравливает. А может, просто тешилось самолюбие. Ведь у моря проще всего упиваться монументальностью: стоишь себе, а волны бегут, шумят, словно толпы поклонников. И не могут добежать...

Но самолюбие самолюбием, а время не ждет. Я вышел на шоссе и запагал на юг, в сторону поселка Рыбачьего, где на Биологической станции АН СССР живут и работают орнитологи. Через полчаса попутный грузовик подкинул меня до первой сети.

Не сразу поверилось, что она — для птиц. При слове «птицеловы» обычно вспоминается картина Перова с ее сеточками-клеточками. А тут среди мелкоколосья на затравеневших дюнах трепыхалось на ветру нечто огромное, длиной больше ста метров, и с входом, в который могла бы въехать не то что машина, а целый трехэтажный дом вместе с подъездами и балконами. Это была всем сетям сеть. Сеть на уровне века. Вот только что за птиц в нее ловят? Не орлов ли?

Гадать пришлось недолго. Скоро подбежали двое парней, что-то покрутили, подергали, и гигантская конструкция послушно сложилась, легла на землю, придавленная шестами и веревками. Это были кандидат биологических наук Потапов и студент Московского университета Гаврилов, работающий здесь лаборантом. С помощью своей гигантской сети они ловят перелетных птиц — зябликов, пеночек, чижей, скворцов, зарянок, измеряют их, взве-

пивают, записывают в журнал, прикрепляют каждой на лапку колечко и отпускают.

Втроем мы прошли в чащобу, к небольшому домику, темневшему меж деревьев одинокой крышей.

В маленькой комнате над голым дощатым столом висели ящики с тушками пичуг — необходимых жертв науки.

— Сейчас птиц немного, не сезон, — сказал Потапов. — А весной и осенью, когда массовый перелет, мы тут с ног сбиваемся. Коса ведь вроде моста на птичьей дороге. Летят днем и ночью. Мы прикидывали: бывает до двух миллионов за несколько часов. В сети попадает капля в море...

— Хотя сети самые большие на всю Европу.

— ...Мы кольцуем по 50—60 тысяч в год. Это больше трети всех кольцеваний, проводимых в Советском Союзе.

— И все для того, чтобы узнать, как птицы мигрируют. Случается узнавать любопытное: один дрозд за двое суток долетел отсюда до Франции, а скворец за сутки добрался до Бельгии — 1200 километров по прямой. Но самое интересное — изучать навигационные способности птиц...

В ту ночь мне снились птицы. Они летели плотными стаями, похожими на тучи, монотонно шумели крыльями. Я глядел на них и вновь переживал томительное нетерпение засидевшего путешественника. И смело, как бывает во сне, размышлял об общности между людьми и птицами, о том, что во всем живом, должно быть, есть некий единый стерженек непосредности.

Но это шумел дождь. Утром он прошел. Ветер шевелил ветви, страхивал с листьев мелкие капли.

Я помог птицеловам поставить сеть и пошел в поселок Рыбачий. В тот же день рыбаки переправили меня на другой берег залива — в поселок Мысовку.

### «ПРИБАЛТИЙСКИЕ НИДЕРЛАНДЫ»

— Привет, аист!

Аисту было все равно. Он стоял, как изваяние, в своем гнезде, похожем на чабанскую шапку, и глядел в другую сторону.

— Эй! Давай лети!

Аист послушно взмахнул большими крыльями и полетел над зеленой низиной, свесив длинный клюв. Я стоял на дамбе, под ветвистыми березами, и сверху долго глядел на его медленные выражи.

Потом пошел в дом. Из сумрачных сеней постучал.

— Кто там? Входите! — слышался женский голос.

Я не сразу разглядел ее, ибо очки мои запотели. В доме пахло мокрым бельем и мылом. Когда протер очки, увидел глаза, большие, удивленные. Женщина медленно счищала с голых по локоть рук мыльную пену.

— Вам кого? — спросила она, окая по-волжски.

— Хозяина. Или хозяйку. В зависимости от того, кто главнее.

— Он скоро будет. Проходите.

— Спасибо. Я во дворе подожду.

Большой и чистый двор с одной стороны обрывался задерненным берегом. Там стояла старая краснокирпичная будка насосной станции. Рядом белый домик другой насосной станции, построенной недавно. В тихом водоеме за запрудой плавали гуси. За дамбой, внизу, начинались каналы, уходили далеко в луга, ровные, как стадион, огороженные по горизонту шеренгой лесопосадок... Это был один из любопытнейших уголков страны, земля, созданная не божьим соизволением — человеческим трудом.

Иногда эти места называют «прибалтийскими Нидерландами», потому что здесь много общего со знаменитыми полдерами Голландии: такие же дамбы, каналы, насосные станции, та же непрерывная борьба с водой. Здесь вековое противоборство моря и суши оставило ничейную «мертвую» зону — огромные заболоченные пространства. Человек заслонил эту сушу дамбами, вырыл каналы.

Велика ли Калининградская область? Всего-то 15 тысяч квадратных километров. Но на них — 31 тысяча километров каналов. Не канав каких-нибудь, а именно каналов шириной от двух с половиной до тридцати метров. А вся остальная площадь буквально нашпигована дренажем. Повсюду на метровой глубине лежат гончарные трубы диаметром от пяти до двадцати сантиметров. По две-три трубы на каждый метр. Если взглянуть на эти поля сверху, когда пробивается первая зелень, то по неровному цвету ее можно определить, где лежат дрены. Тогда поля напоминают просвечивающий лист: тысячи прожилок стекаются к водосборным трубам, сотни труб сходятся к основным каналам. Кто-то подсчитал, что если бы все дренажные трубы Калининградской области вытянуть в одну линию, то они десять раз опоясали бы Землю по экватору.

Полмиллиарда кубометров воды ежегодно откачивается с калининградских земель. 80 процентов ее приходится на Славский район, примыкающий одним боком к Неману, другим к Курскому заливу. На этот самый район, который ни объехать, ни обойти на моем пути «из варяг в греки»...

Хозяин пришел не скоро. Я уж собрался доставать из рюкзака дорожный провиант, когда услышал вдали треск мопедного моторчика. Он оборвался за стеной дома, и во двор неторопливо

вошел хмурый пожилой человек в мокрых резиновых сапогах, в ношеном-переношенном брезентовом плаще.

— Первушин, начальник местного узла станций,— представился он, после того как внимательно оглядел мои документы.

Но скоро я убедился, что хмурость и подозрительность не в его характере. За столом Первушин отошел душой и пустился в воспоминания.

— Я ведь тут с самой войны,— задумчиво говорил он через полчаса, положив локти на стол.— Сколько друзей похоронил! Тут и меня ранило. А после госпиталя снова сюда пришлось. Когда в сорок шестом приехал, здесь знаешь что было? Болото было, море сплошное. Фашисты драпали, ломали насосные станции. У нас неделю не откачивай — затопит. А тогда сколько не откачивалось? Эти места все под водой были. Хутора стояли что острова, гнили. Бывало, едешь охотиться на лодке — по чердакам ночуешь. Деревья все погибли, а уж дома и подавно развалились... Потом, когда дамбы да каналы восстановили и откачали воду, в тех домах уже нельзя было жить. Хлопот хватило сносить их да фундаменты с полей убирать. А то ведь трактором зацепишь — лемеха долой... Тут все наново пришлось начинать. Но особо дренаж достался. Их миллионы трубок в земле, и все засорились, не отводили воду. Но как прочистишь, когда не известно, где они есть? У нас ведь не было земельных планов. Сначала искали дренаж ощупью. Затем догадались применить аэрофотосъемку. В иное время дренаж можно на снимках разглядеть...

Потом мы вышли во двор покурить. Был уже вечер. Хмурые сумерки подкрадывались низкими лугами. По горизонту поблескивали огоньки далеких поселков. Упруго шумела береза над головой, царапала вершиной лунное пятно, светлевшее в тучах.

— Погода будет,— сказал Первушин.

Он курил, прислонившись спиной к косяку, и молчал. А я глядел в серую даль и думал о земле, которая зажила по-новому.

«Русским понадобятся столетия, чтобы возродить к жизни этот край», — пророчествовали на Западе. Возрождать было нечего. Все пришлось строить заново.

За десятилетия в этом крае было сделано больше, чем прежде за века. Никогда здесь не было столько жилых домов, никогда не развивались столь мощная промышленность и такой рыболовный флот. Калининградские рыбаки сейчас добывают рыбы больше, чем вся Западная Германия. Промышленной продукции выпускается в шесть раз больше, чем прежде, при немцах.

Труднее было с землей. Она требовала огромных мелиоративных работ. «Советам не удастся использовать эти земли в народнохозяйственных целях», — писали западногерманские газеты.



Но и это удалось. Под прикрытием дамб, под защитой сети каналов и автоматических насосных станций в Калининградской области развивается интенсивное сельское хозяйство.

Утром Первушин повел показывать свои владения. Мы осмотрели большой зал старой насосной станции, в которой было все новое, кроме стен из щербатого красного кирпича. Заглянули на соседнюю станцию, где было все новое, вплоть до стен. Послушали глухую тишину безлюдных помещений. Поахали у трубы, которая при включении насоса стреляла пятиметровой сверкающей струей воды... И пошли по невысокой дамбе туда, где среди полей виднелось здание подстанции — того самого узла, куда сходятся все провода и где единственный на ближайшие насосные станции дежурный техник.

— Здесь никак нельзя без откачки, — рассказывал Первушин дорогой. — Чуть неисправность — сразу заболачивание. Воздух из почвы вытесняется, микробиологические процессы угнетаются, плодородие быстро падает. Земля тогда долго не просыхает, и весенняя пахота задерживается на две-три недели. Урожай получается — хуже не придумаешь. Да и взять его трудно. Случалось, самоходный комбайн буксировали двумя тракторами. И под луг такую землю не оставишь. За год-другой полностью гибнут культурные травы, разрастаются ситники, осоки, лютики. И кочки лезут... Так что мы тут вроде главных в сельском хозяйстве. Без дрен и каналов, без хороших насосных станций на этих землях ничего не вырастишь. А с ними — ого! Больше двадцати центнеров зерна с гектара берем. Это на круг. А ведь зерно-то у нас и не главное. Главное — травы, животноводство.

Дорога была оживленнее, чем казалась вчера вечером. Нас обгоняли самосвалы, юркие экскаваторы на резиновом ходу, огромные, как танки, скрепера с колесами в человеческий рост. А один раз прошла машина, похожая на абстрактную скульптуру. На ее шарнирных конструкциях со всех сторон были навешены поблескивающие квадратные диски.

— Это косилка, — объяснил Первушин. — Откосы у каналов обкашивать. Техники у нас хватает: дреноукладчики, канавокопатели, корчеватели, кусторезы, всякие дорожные машины. Земля ведь тут какая: без хорошей насыпной дороги шагу не шагнешь.

На подстанции дежурила жена Первушина. Когда она успела сюда? Утром толклась по дому и вроде была там, когда мы уходили. И вот уже сидит у диспетчерского щита, подмаргивает своими большими глазами зеленым и белым лампочкам. Должно быть, обогнала нас на попутной машине.

— Вот тут все наши станции, — сказала она, кивнув на щит. —

Полная автоматизация. Зеленая лампочка горит — значит, на станции все в порядке, красная — сломалось что-то. Другая пара лампочек показывает, работает станция или нет. Как уровень воды дойдет до черты, так она и включается. Вот, заработала! — обрадовалась она, увидев, что на щите погасла белая лампочка и зажглась зеленая.

Потом Первушин проводил меня до шоссе, остановил грузовик, пошушукался с шофером.

— Вот, — сказал он, — до Русне подбросит.

И я поехал на север через ровные, как стадион, поля. Держа блокнот на весу, ужасными каракулями записывал: «Славский район: максимальная длина — около 60 километров, ширина — 35. За день можно объехать все города и деревни. Дамб — 486 километров, каналов — 6481 километр...»

Скоро над лугами начала подниматься пушистая, как букет, рошица с островерхим конусом костела. Рошица эта была уже в городе Русне, где Неман.

#### ВВЕРХ ПО НЕМАНУ

Жил на берегу Немана человек, умевший глядеть на мир по-детски восторженно и удивленно. Он увлекался философией, историей, литературой, психологией, астрономией, физикой, химией, страстно любил музыку и сам писал ее. А прославился как сказочник. Сказки его необычны, они не в словах — в красках...

О чем вы, читатель, думаете, когда слушаете симфонию? Не проходят ли перед вами фантастические картины, где добро и зло имеют цвет и форму? Не уживаются ли рядом сказки из вашего детства и недавно прочитанные научно-фантастические романы? Не растут ли цветы в небе вместо звезд и не сходят ли созвездия на тихие крыши деревень? И видения голубых городов под хороводами солнц разве не сжимают ваше сердце надеждой? Все философские проблемы, тайны космоса, времени и красоты, все загадки капризных человеческих желаний и упрямой неуступчивости природы — все это словно материализуется, пульсирует, живет в воображении, когда мы слушаем симфонию.

Видел это и человек, живший на берегу Немана. И в неистовой доброте распахивал душу перед людьми, делился миром своих видений. Поэтому его музыка похожа на живопись, его картины напоминают фрагменты симфоний.

Человека этого звали Микалоюс Чюрлёнис.

И я пытался глядеть на Неман глазами Чюрлёниса. С того самого момента, как впервые поднялся на вымощенную затравеневшую дамбу. Но у меня это плохо получалось. Неман у Русне

казался мне в меру бурливым, в меру гладким. Отражались в воде мачты высоковольтки. Покачивались у песчаного берега тихие лодки. Испуганно вскрикивали грузовики, въезжая на зыбкий паром. И дремали дома за дамбой, похожие на окраинные дачки в наших русских районных городишках, только не размашистые, в резных наличниках, а строгие, высококрышие, ухоженные. Неторопливые люди, тихие дети на чистых тротуарах под неподвижными липами, белые дали над лугами, что начинаются прямо в городе. Казалось, будто край этот уже достиг всего и теперь наслаждается в дремоте.

Ощущение задумчивости и философичности мира не покидало меня все дни, пока я пробирался вверх по стремнинам Нижнего Немана. Потом я понял, что оно-то, это ощущение, и есть первая сказка в духе Чюрлёниса, навеянная прелестью местных пейзажей.

Что такое Неман? Склонные к математичности географы говорят, что это одна из крупных рек Европы длиной 937 километров, поделенная почти поровну между Литвой и Белоруссией, что ширина Немана в низовьях колеблется от 180 метров в межень до полутора километров в половодье...

Конечно, математика — царица наук. Конечно, география, как и подобает любой науке, должна стремиться к четкости расчетов. Но теперь, когда на Земле все исхожено и измерено, географам, думается, не повредила бы восторженность путешественников. А все путешествовавшие по этим местам в один голос восклицают: «Неман — красивейшая река! Неман — сплошное очарование!»

Я плыл по Неману много дней. На трескучих лодках, еле выгребавших против быстрого течения, на стремительных «Ракетах», на юрких глиссерах и неповоротливых теплоходиках. Плыл то быстро, то медленно, ночевал в уютных гостиницах и на лугах наедине с небом, где уют создавала сама ночь, где шорохи звезд перебивались только всплесками сонных окуней. Видел над Неманом тихие зори и грозовые тучи. Но все мне казалось, что чюрлёнисовская сказка, эта странная смесь былей и фантазии, географии и истории, музыки и живописи, ускользает, дробится на непоследовательный ряд впечатлений...

Русне по его местоположению — среди рек, протоков, лугов — и по числу жителей (около трех тысяч) больше подобает быть поселком. Но это город. С мощеными улицами, каменными домами, с отличными магазинами, школой, больницей, кинотеатром. Некоторые улицы — вовсе не улицы, а речки и каналы. У ворот вместо персональных автомобилей покачивались катера и черные рыбацкие доры. Этакая «литовская Венеция» с примесью Голландии.

Рассказывают, будто еще перед второй мировой войной в Русне каждый день приезжала четверка лошадей, запряженная в старомодную карету. Из нее выходил человек в синей одежде с красными кантами, поднимался на башню и трубил в трубу. Так оригинально жители оповещались, что пришла свежая почта... Рассказывают, что еще и поныне в укромных уголках старых домов рядом с традиционным распятием можно увидеть деревянную фигурку старичка с приоткрытым ртом, с бородой и крыльями. Это бог местных вод Банкпутис — «дующий на волны», от которого зависели ветры и наводнения. А от них в свою очередь зависела жизнь. Ведь остров, на котором находится город, на метр ниже уровня моря...

Однако даже самые консервативные русненцы, надо полагать, больше верили в поговорку «на бога надейся, а сам не плошай». Иначе зачем бы они строили столько дамб и каналов? На островке поперечником меньше семи километров — 60 километров дамб, множество водоотводящих каналов, шесть насосных станций.

От Русне до Советска берега низкие, в камышовых зарослях, с удочками, торчащими из каждого просвета, с деревенскими крышами за частыми дамбами. Вдоль литовского и калининградского берегов — одинаковые низины. И там и тут мелиоративные машины копают каналы, укладывают в землю дренажные трубы — единственное, на что может опираться в борьбе с излишней влажностью здешнее сельское хозяйство. Еще недавно было так, что крестьяне, не дождавшись подсохшей земли, выводили пахать лошадей, обутых в деревянные башмаки. Теперь на дренированных полях свободно ходят тракторы. Это ли не благо?

Но, как нередко бывает, вместе с благом пришла тревога. Впервые я услышал о ней от одного литовского мелиоратора.

— Вы посмотрите, что пишут, — говорил он, теребя газету. — Утверждена Генеральная схема комплексного использования водных ресурсов Литвы. «Комплексного использования», заметьте. А вода сбрасывается в реки. Так и написано в газете: «Миллионы кубических метров воды, отведенной с полей, наполнят реки». Да разве можно наполнить реку? Она же не озеро и не водохранилище. Река стечет и обмелеет, если лишится такого источника влаги, как подпочвенная вода...

Я не придавал значения его словам, потому что уже видел леса, вставшие по воле человека на дюнах Курской косы, видел огромные болота Славского района, превращенные в пашни. Мне казалось, что нет оснований для беспокойства. И я любовался удивительными пейзажами Принеманья с восторгом, свойствен-

ным всем путешественникам, и вспоминал слова Н. М. Пржевальского: «А еще жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать».

...Река неслась навстречу, крутила водовороты у подмытых берегов, пенно рябила на каменистых мелководьях, заставляла смеяться над собственной наивностью. Плыть на веслах против течения?! На что уж легки и сильны «Ракеты», но и те заметно сносило на крутых поворотах!

За Советском берега начали подниматься. Замелькали обрывы в декоративном бархате зарослей, косогоры с уютными тропками по склонам, увалы с одинокими усадьбами и замками на вершинах, россыпи сельских крыш среди густых садов, автобусы за редкими изгородями придорожных столбиков, кучи ребятишек на нешироких песчаных пляжах.

Остались позади тихие литовские местечки: Смалининкай, Юрбаркас, Раудоне, где в старинном парке растет дуб Гедимина — один из старейших в Литве; Велюона, в которой некогда находилась самая мощная на Немане крепость... Здесь, возле Велюоны, крестоносцы впервые применили огнестрельное оружие. И одной из первых пуль в 1341 году был убит князь Гедимин...

Я глядел на пологие обрывы в буйстве листвы, на длинные ряды домиков, на мирные дымки, которые, казалось, вливались прямо в белые тучки, и тщетно пытался представить то далекое гроыхание «огненных труб», доставших самого князя. Мне виделись другие залпы, прогремевшие здесь — по странной прихоти истории, год в год — шесть веков спустя. А по берегам, на опушках красивых лесов, виднелись дома отдыха, расположенные в старинных и современных усадьбах, курорты, где, я знал, даже воздух считается лекарством. И вдруг из-за очередного поворота реки выплыл сказочный город с тонкими ниточками мостов, с изящными конусами старинных крыш, с белыми домами, словно плававшими на зеленой волне крутого берега. Это был Каунас. Самый большой и самый красивый город на всем Немане.

Наверное, он всегда был таким, со времени своего основания в XIII веке. Если бы в древности города назывались, как теперь, героями, то Каунас был бы первым. Во всяком случае в Литве. Несколькo веков подряд он стоял на переднем крае, отражал непрерывные нападения крестоносцев. Еще и теперь на стрелке меж Неманом и рекой Нярис высятся остатки древних замковых башен и стен такой толщины, что, глядя на них, ахают даже привыкшие к монументальности туристы.

После разгрома крестоносцев Каунас стал хорошеть, как юноша, скинувший доспехи. Вокруг буйствовали леса, легкие облака нежились на кудрявых холмах, смягчая посуровевшую в битвах

душу литовца. Один французский офицер, побывавший здесь в 1812 году, несмотря на свою чванливость завоевателя, презиравшего чужие города и назвавшего Каунас «плохой картиной», вынужден был добавить, что у этой картины — красивая рама. Но и «картина», думается, была хороша. Недаром же Адам Мицкевич, в чьем вкусе трудно сомневаться, почти тогда же влюбился в Каунас.

Но жизнь простых людей в красивом городе оставалась тяжелой. В 1939 году каждый четвертый житель Каунаса был безработным. Город держал своеобразный рекорд: стоимость электроэнергии здесь была самой высокой в Европе.

Теперь рабочих не хватает. Несмотря на то, что число горожан растет темпами, небывалыми за все века.

В первый же день своей жизни в Каунасе я отправился к первому на моем пути искусственному морю — Каунасскому. Посмотрел плотину ГЭС, теплоходы, яхты на синей воде и в тишине травянистого пляжа предался размышлениям о проблемах водного пути через материк.

...Еще недавно об этом пути говорили много и охотно. Тогда и возникло Каунасское море — одна из ступенек предполагаемого Неманского каскада. Теперь интерес к водному пути поослаб, и раздаются голоса: зачем, дескать, такое строительство? Не лучше ли обойтись железными дорогами? На эту тему можно бы дискутировать, если бы водохранилища респали только транспортную проблему. А то ведь и энергетическую. И вовсе бесспорную водоснабженческую. Сельскохозяйственное и промышленное производство, как известно, невозможно без больших запасов воды. Где их запастать, как не в водохранилищах? А водохранилища — в самый раз для пароходов. Вот и получается цепь связей. Та самая, из которой не выкинешь звена, чтобы не разорвать ее. Там, на тихом берегу Каунасского моря, вспомнилось мне беспокойство литовского мелиоратора, с которым пришлось беседовать несколько дней назад. И я впервые всерьез задумался над проблемами, связанными с землей и водой.

...Человек нынче смел. Он отваживается оттеснять саму Природу и брать на себя ее хлопоты. Но человек не всегда дальновиден. Чаще всего он делает лишь то, что считает выгодным. Мешает излишняя влажность почв — человек стремится спустить воду и на уравновешенную веками чашу природных весов бросает миллионные средства. Но ведь ясно, что для равновесия нужно такую же тяжесть класть на противоположную чашу. Относительно водной проблемы это значит, что если мы взяли осушать, то одновременно следует взвалить на себя и заботу об обводнении. Земля, искротованная дренами, исполосованная каналами, быстро теряет воду. Хорошо, если рядом целый Курский залив. А вдали

от залива? Откуда там взяться воде, если она вся сбегает за недели паводка? Реки, лишённые грунтовых истоков, начинают мелесть. Заводы и пашни оказываются на голодном водном пайке в самое сухое летнее время.

Значит, лишая реки естественных источников — грунтовых вод, мы должны создавать искусственные. Ими могут быть только водохранилища. Создавать их лучше всего на реках, где обеспечено течение, где почти готовое ложе, где подъём воды не в новинку местным жителям, ибо он и без водохранилищ случается почти ежегодно — во время паводков...

Так я сидел и размышлял у тихих вод Каунасского моря. Пока не пришло время обедать. Тогда я отправился в ту корчму, о которой мечталось еще в Москве, — в «Охотничью заезжую».

...Черный кованый ворон сидел на стреле натянутого железного лука. Темнели тяжелые своды окон. Арка с дубовыми воротами и изящной вывеской на цепях. Такова корчма снаружи.

Входишь туда, будто ныряешь в века. Дощатые столы с длинными скамьями. Тяжелые глиняные кружки. Массивные музейные люстры под сводами. Медвежьи шкуры на подоконниках. Полумрак, который словно бы подчеркивают горящие на столах свечи. И официантки в национальных одеждах, каких теперь не встретишь на улице. Такова корчма внутри. Обед здесь не прием пищи, как в столовых, не дружеское застолье, как в ресторанах, а скорее экскурсия в прошлое, где экспонаты — ощущения, усиленные предусмотрительными литовскими художниками, рассыпавшими вокруг такое обилие волнующих мелочей.

Каунас — это город художников. Их рука чувствуется и в глухих поворотах старых улиц, и в живописном расположении новостроек. Здесь работал Чюрлёнис, оставивший городу целую галерею своих феерических картин; жил пейзажист Жмуйдзинавичюс, который до девяноста лет писал свой край и умер с убеждением, что не сумел выразить всех чувств к родине. Здесь создавала свои оригинальные скульптуры Даугвилене, терпеливо спивая их из маленьких кусочков коры.

В Каунасе находится единственная в Советском Союзе Галерея витража и скульптуры. Литовский витраж ожил здесь удивительным единством современного и старого искусства.

Я осторожно перешагивал через радужные блики на полу. И вдруг вздрогнул: из черной глубины купола на цветовую феерию обрушилась музыка. Торжествующие звуки органа гудели под сводами, заставляя душу замирать и трепетать в потоке неожиданных чувств.

Удивительное это место — Каунасская галерея витража. Она родилась из ничего. С прошлого века стоял в центре города массивный костел. И раздавались голоса: зачем тут стоять «рассад-



нику мракобесия)? Не лучше ли сломать его и разбить на этом месте сквер? Но однажды пришли в костел умные люди, осмотрели старый орган, послушали, как гудят своды удивительной акустикой. И устроили в никому не нужном костеле культурный центр, какого нет в других городах, — синтез музея; художественной галереи и концертного зала. И приходят сюда толпы людей, своих и приехавших издалека, чтобы полюбоваться на мозаику витражей, послушать орган. И поудивляться, что сочетание света и музыки, которым пользовались ксендзы для усиления мрачного мистицизма верующих, теперь, в иных условиях, рождает такую теплую волну возвышающих чувств.

Потом по бульвару с поэтическим названием Лайсвес-аллея я прошел в старый город. В глубине узких переулков светилось закатное небо, похожее на литовский витраж. Высоченная колокольня ратуши тянула свой острый шпиль, словно хотела еще взглянуть на убежавшее солнце. Липы и тополя низко развешивали тяжелые ветви над брусчатыми тротуарами, над садовыми скамьями в сквериках, над фонарями, желтевшими на гнутых кронштейнах ворот. Замысловатым орнаментом белели в вышине шпили и полукружия фасада знаменитого дома Перкунаса, старого бога, родственника древнерусского Перуна. Возле этого дома какой-то парень, прислонившись спиной к черной липе, декламировал своей молчаливой девушке стихи Венцловы.

— «Ночь осушила драгоценный кубок, чьи грани — окна, фонари, река. И может быть, сейчас пойдет на убыль меня весь день снедавшая тоска. Пусть ночь в себя вберет ее основу, как рокот колокола — тишина, чтоб стала на мгновение сквозною между былым и нынешним стена...»

Есть какое-то чудо в поэзии. Однажды мне пришлось услышать песню «Славное море — священный Байкал» на Байкале. Она была там удивительно к месту. Будто рождалась сама собой, приносилась ветром-баргузином с синей-синей кромки байкальского горизонта. В другой раз почувствовал нечто похожее в Карелии, где за мной по пятам ходила песня об «остроконечных елей ресницах над голубыми глазами озер». И вот опять. Будто не человек сочинял эти стихи, а сама ночь с гулкими шагами по брусчатке тротуаров, с желтыми глазами фонарей, с глухими стенами старого литовского города. Такие стихи могли быть написаны только здесь, и нигде больше. И еще поражало, что мое так обострившееся желание перешагнуть стену между прошлым и настоящим уже было кем-то испытано и даже выражено...

Люди, которые призывают не оглядываться на прошлое, обманывают себя. От прошлого не уйти, как не изменить цвета глаз, формы ушей. Оно наследуется, как здоровье или способности. Ибо все мы — дети своих отцов. Мировая литература полна сказаний

о людях, продавших память и ставших в результате злыми, духовно мертвыми, обреченными на безбудущность.

Стену между былым и нынешним надо не городить — ломать. Не силой, разумеется, — уважением к старым домам, обычаям, песням. И бережным отношением к прошлому, любовным использованием его в настоящем. Кто не знает, как это делать, пусть едет в Каунас. Походит по старому городу поздно вечером и в тишине переулков поймет, почему в течение веков насмерть стояли литвины на рубеже Немана. И почему устояли против хорошо организованного, лицемерного и совершенно беспощадного врага.

Прошлое делает нас патриотами. Одного этого довольно и для настоящего, и для будущего...

В один из дней я поднялся по травянистому склону на Алексотскую гору, надеясь увидеть Каунас сразу весь: зеленую кипень его аллей и бульваров, пестрый ковер крыш в голубой раме реки, белые, сверкающие, как миражи, корпуса новых заводов на дальних окраинах. И вспомнил, что гора эта не только место отдыха горожан, но что с ней связана одна из многочисленных литовских легенд. В старину считалось, что если девушка взберется на эту гору весной, сразу, как сойдет снег, то она до осени встретит любимого человека...

Здесь, в Литве, что ни камень — предание, что ни гора — примета.

Есть валуны-мокусы, что значит «учащие». Не было в жизни удачи — шли погладить мокус. Не было у женщины детей — растилала на ночь рубашку на чудесном камне.

Есть гора Рамбинас на Немане, считавшаяся своеобразным литовским Олимпом, обиталищем языческих богов. Боги давно уж забыли об этой горе. А люди долго помнили, что, если после свадьбы съездить на Рамбинас и привезти оттуда камешек, будет жизнь счастливой.

Растет в Литве Стельмужский дуб — живое олицетворение литовской древности. Ему две тысячи лет. Если кто надолго покидал родину, то ехал к Стельмужскому дубу, касался его рукой. Тоже на счастье.

А старое поверье, будто подарить янтарь — к дружбе, дожило до наших дней. В каждом сувенирном магазине теперь можно прочесть, что изделия из янтаря — лучший подарок...

Утром я уезжал. «Поблескивая всплесками, скользила вода у борта. Покинутый причал и весь Каунас растяли за кормой. И небо в дымке утренней было над головой простерто. По древней шири Немана мы плыли вновь...» Все было точно так. Хотя, как читатель, возможно, догадался, отъезд из Каунаса описан не мной, а поэтом Ионисасом. Но что поделать, если в Литве все-превсе описано и переписано...

## ЧУДЕСА ДРУСКИНИНКАЯ

Необыкновенно красив Неман под Друскининкаем. Не просто склоны по берегам, а прямо-таки зелено-бархатные занавеси свисают над водами. Не просто луга меж гор, а произведения искусства, творения гениального ландшафтного архитектора, предусмотревшего все виды, все планы. Если бы в Друскининкае не было его знаменитых вод, то все равно, думается, здесь был бы курорт, где врачам помогали бы и настои воздуха, и тишина, и эта умиротворяющая прелесть природы.

...Среди степенных, одетых, как в гости, курортников я был словно поговорочная ворона, только не белая. Мое лицо успело хорошо загореть, а одежда — основательно выгореть. Рюкзак, непонятных для курортников размеров, вызывал удивление.

У высокого мостика через быструю речку на черной плите пьедестала сидела полуобернувшись бронзовая девушка с большим карасем на коленях и лила воду из раковины. Это была Ратничеле — аллегорическое изображение речки.

Я перешел мостик, разыскал укромную скамейку на бугорке, откуда меж ветвей виднелся Неман с пешеходным мостиком, и раскрыл блокнот с записями о Друскининкае, сделанными еще в Москве.

...Если простая вода не приносит вреда, то минеральная вода продлевает года. Это уж точно. Замечено не теперь, а, может быть, тысячи лет назад. И неизвестно, кем раньше — людьми или животными. Легенды путаются: то они отдают приоритет открытия того или иного минерального источника какому-то оленю, лечившему в нем свои раны, то пастушонку, избавившемуся от болячек в местном болоте. Что касается Друскининкай, то известно, что местные мужики купались в здешней воде и выпаривали из нее соль задолго до того, как официальная медицина обратила на источники внимание. Недаром само название Друскининкай происходит от слова «друска» — по-литовски «соль».

В нашей стране вся курортная история начинается с минеральных вод. «Господа Сенат! — писал Петр I из-за границы. — По получению сего велите доктору Шуберту искать в нашем государстве (а особенно в таких местах, где есть железные руды) ключевых вод, которыми можно пользоваться от болезней...» Потом был издан Указ Петра о первых «дохтурских правилах». На них стоит пометка: «Печатано в Санкт-Петербурге 1719 году, марта в 20 день». И любопытное совпадение: на другом важнейшем документе, касающемся развития курортного дела в нашей стране, — Декрете о лечебных местностях общегосударственного

значения — стоит дата: «20 марта 1919 года». Ровнехонько два века спустя, день в день.

Первым врачом в Друскининкае был и не врач вовсе, а просто местный житель Пранас Сурутис, живший в XVIII веке. Он так специализировался на лечении водами, что далеко прославился как знатный лекарь. Официально же Друскининкай был признан курортом лишь в 1837 году, после исследований виленского профессора Игната Фонберга.

Курорт рос, даже обзавелся своим журналом с поэтичным названием «Русалка друскининских источников». А потом, после пожара, уничтожившего водолечебницу, надолго попал в частные руки. И стал не столько курортом, сколько местом встреч состоятельных бездельников. В 1931 году, например, здесь побывало семь тысяч человек — почти столько же, сколько приезжало сюда за год в середине прошлого века. Сейчас в Друскининкае лечится до 60 тысяч больных в год. Не считая множества людей, приезжающих сюда без путевок, которым тоже не заказано пить минеральную воду и обмываться ею.

И разумеется, не считая меня. Я выпил три стакана даровой воды из фонтанчика, бьющего в красивом павильоне, сплошь уставленном витражами. Смыл с лица дорожный пот щиплющей минералкой. И пошел по косым аллеям и широким лестницам вверх, туда, где виднелись длинные корпуса бальнеогрязелечебницы.

В сопровождении молодой и красивой докторши — ординатора бальнеогрязелечебницы Зоси Надзинскайте я прошел по длинным тихим коридорам, осмотрел свободные кабины.

...Грязелечение, как известно, основали древние египтяне. Они делали просто: приходили к Нилу, ложились в прибрежный ил, вымазывались им и так лежали под горячим солнцем. Теперь лечиться сложнее. Надо сначала выяснить, есть ли у тебя ревматизм, радикулит, болезни желудка, печени или, на худой конец, хотя бы ломота в суставах; затем надо достать путевку, дать себя десятки раз ощупать врачам, выслушать сотню наставлений. Только после всего этого перед тобой откроется белая дверь кабинки, где на топчане лежит слой жирной грязи. Ты ложишься на нее голой спиной, блаженно закрываешь глаза и чувствуешь как ласковые руки медицинской сестры кладут тебе на живот нечто теплое, грузное, липкое. И наступают твои двадцать минут, когда в тишине и покое ты получаешь возможность рассудить, что так в былые времена не лечили даже фараонов.

Лечиться в местной грязелечебнице, по мнению Зоси Надзинскайте да и многих больных, с которыми мне пришлось говорить, не только полезно для здоровья, но еще и сплошное удовольствие...

Но все это были, так сказать, попутные впечатления. Я стремился к главной моей цели в Друскининкае — парку лечебной физкультуры с его знаменитыми каскадными купальнями.

Дорога привела к широкой лестнице, наверху которой меж сосен и столбов были ворота, проход-калитка и небольшой павильончик. Точь-в-точь вход на какой-нибудь районный стадион. У калитки сидела женщина, похожая на обычную контролершу. Она сказала, что, прежде чем попасть в парк, нужно зайти к директору Карлу Викентьевичу Динейке.

Кабинет Динейки находился в двух шагах от проходной. Он был довольно своеобразен — этакий гибрид амбулатории и спортивного зала. Рядом с традиционной медицинской кушеткой — шведская стенка, а под стеклянным шкафом со склянками — физкультурные пружинные палки. Сам Динейка сначала не показался оригинальным, если не считать исключительной вежливости, предусмотрительности и удивительного умения предугадывать желания. Он как-то сразу понял меня, усадил в мягкое кресло и дал фотоальбом.

— Посмотрите для общего знакомства, — сказал он. — Через десять минут я к вашим услугам.

На фотографиях пожилые и совсем старые люди неловко приседали в физкультурных шеренгах, по-детски перекидывали друг другу большие мячи, катались на велосипедах по сумрачным аллеям, играли в теннис и просто сидели на скамейках в каких-то немисливо живописных уголках.

Я взглядывал поверх альбома на Динейку, беседовавшего с двумя приезжими женщинами-врачами: все хотел понять, что же так привлекает в нем. Было какое-то осязаемое несоответствие между седыми волосами, глубокими морщинами у глаз и в то же время удивительной молодой цепкостью мысли, легкостью движений, даже статностью.

«Сколько же ему лет? Шестьдесят? Или меньше?»

— За семьдесят перевалило, — ответил Динейка через десять минут. — Не вы первый спрашиваете. Но что я? Вот у нас есть Потапов, ленинградец, каждое лето приезжает. Ему под девяносто, а в теннис играет как молодой. По два часа каждый день. Пешком гуляет, на мопеде катается. Жизнерадостный человек!

И Динейка начал рассказывать о том, что здоровье и радость тесно связаны между собой, что необходимо сознательно уходить от тягостных мыслей, подавлять в себе отрицательные эмоции. Ибо если здоровье куется с помощью физкультуры, то жизнерадостность зависит от здоровья и общего психического состояния.

— Старость не радость, — сказал я.

— Если она последний этап, — возразил Динейка. — А ведь старость — это не ожидание смерти, а один из этапов жизни. Пусть

менее активный, но вполне плодотворный. Говорят, старость наступает, когда человек теряет способность увлекаться и переживать, преодолевая препятствия. А эту способность можно долго охранять рациональным образом жизни, самовнушением, физкультурой, постоянным общением с природой. Многие боятся старости, каждый день перед зеркалом ищут ее следы. И тем парализуют свою волю к жизни. Я помню дни, когда геронтологи впервые заявили в прессе, что пенсионный возраст — это средний возраст. Сколько старых людей сразу почувствовали себя гучше!..

Карл Викентьевич Динейка — один из инициаторов и создателей Друскининкайского парка лечебной физкультуры и бессменный его директор. Парк этот был создан в 1952 году. Теперь он занимает двадцать гектаров леса. В парке площадки для групповых занятий и спортивных игр, беговая дорожка, велосипедная база (зимой — лыжная и конькобежная), каскадные купальни, три плавательных бассейна — два для взрослых и один детский. Сто десять тысяч человек ежегодно приезжают сюда — и больных, и здоровых.

— Организм больного особенно нуждается в физкультуре, — рассказывал Динейка. — Импульсы, идущие от работающих мышц, не только координируют двигательный аппарат, но и оказывают весьма существенное регулирующее воздействие на деятельность внутренних органов. Взять дыхательные упражнения. С древнейших времен у многих народов они признаются действенным средством лечения болезней. А если такие упражнения сочетать с физкультурой?.. Впрочем, если хотите, можете посмотреть, как это делается. Как раз сейчас я иду показывать парк врачам из Риги. Присоединяйтесь.

Докторши оказались строгими, вежливыми, безулыбчивыми. Молчаливой толпой мы прошли мимо дежурной в воротах и направились куда-то меж высоких сосен, сквозь неестественную для городского парка тишину.

— Тишина у нас тоже лечебный фактор, — говорил Динейка. — Соблюдать ее — первое условие. И еще чистота воздуха. В парке мы просим не курить.

Люди, на вид совсем не больные, проходили мимо, переговаривались вполголоса, как в музеях, издали кланялись директору. На спортивной площадке седовласые «больные здоровяки» азартно играли в мяч. В другом месте качались на низких скамьях, словно разминались перед соревнованием. В третьем — с шутками и прибаутками бежали по кругу, как в хороводе.

Потом мы спустились по лесенке к шумной речушке.

— Хотите искупаться в каскадах? — спросил Динейка,

Об этом можно было не спрашивать. Кто же не захочет под единственный в стране, а может быть и в мире, искусственный лечебный водопад?! Единственное всегда привлекает, даже если оно и не доставляет удовольствия. А каскады!.. Все купавшиеся в них не могут рассказывать об этом иначе как междометиями.

Но Динейка не сразу пустил нас в купальни. Сначала он выстроил нас в одну шеренгу на расстоянии вытянутой руки и при всем честном народе заставил приседать и наклоняться.

— Вода холодная. Надо проделать физические упражнения, — говорил он в промежутках между «раз-два». — Купания в каскадах очень полезны при неврозах, нарушениях обмена веществ, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, некоторых болезнях сердца и сосудов. Но если у вас большие почки, или недостаточность коронарного кровообращения, или радикулито-ишалгия, или те же неврозы, но в резко выраженной форме, лучше воздержаться...

А вокруг на многочисленных скамеечках, расставленных по склонам, сидели люди. Казалось, они собрались специально поглядеть на нас.

— Они тут дышат, — объяснил Динейка.

Оказывается, возле каскадов исключительная ионизация воздуха. Это «месторождение озона» открыли сами больные. Показалось им, что возле купален легче дышится, и стали ходить сюда толпами. Врачи исследовали воздух и ахнули: ионизация выше, чем в знаменитом пятигорском «Провале», чем в кисловодском «Храме воздуха» и даже чем на лучших швейцарских курортах.

Потом нам принесли махровые полотенца, и мы вошли в светлый зал. На стульях лежали штаны и рубашки, как в предбаннике. За перилами в глубине бассейна мощно шумела вода, падая с трехметровой высоты. Там, расставив руки, ходили дяди в резиновых шапочках. Один, у которого вместо шапочки через всю голову желтела лысина, шевелил под тяжелой струей свой большой живот.

Вода вначале показалась ледяной. Но едва встал под каскад, как ощущение холода пропало. Упругие струи давили, мяти тело.

Из купальни я выходил с редким ощущением бодрости и удивления.

Порозовевшие докторши уже стояли на площадке и слушали Динейку.

— Разве так надо строить физкультурную работу? — страстно говорил он. — Приходит мужчина, говорит: любитель спорта, а ни плавать, ни бегать, ни по бревну пройти. Человек создавался в непрерывном движении. С утра до вечера он прыгал, лазил, носил тяжести, охотился. В течение всей истории. И вдруг уселся у те-

левизора... Я помню, как в старой Литве мы завидовали Советскому Союзу. Говорили: у них спорт массовый, направленный на развитие народного здоровья. И действительно это так. А в последнее время начали увлекаться рекордоманией. Массовая физкультура стала подменяться интересом к чемпионам, людям уникальных физических способностей. Множится число болельщиков, а не активных любителей физкультуры... Я уверен: перекося будет исправлен. Придет время, когда потребность в физкультуре станет более распространенной, чем теперь привычка к курению. И врачи будут «прописывать» — не только больным, но и здоровым людям — те или иные виды спорта. И спортзалы по этим рецептам обязаны будут «отпускать» спортивные занятия так же точно, как аптеки выдают лекарства...

— Пойдемте дальше? — вдруг спокойно спросил Динейка. И я подивился его умению гасить в себе возбуждение.

— А вы не пробовали написать обо всем этом? — спросил я, поравнявшись с Динейкой.

— Пробовал, — улыбнулся он. — Восемь книг уже написал. Сейчас работаю над девятой.

— А о чем девятая, если не секрет?

— Секрет. Но так и быть, скажу. Она будет называться «Сила и красота женщины».

— М-да...

— Думаете, не тема для 70-летнего человека? А по-моему, молодые в этих вопросах более субъективны. Я хотел бы показать в книге, откуда берутся физические, психические и нравственные силы, почему утрачиваются сила и красота. О семье и материнстве как источниках радости и здоровья. Разумеется, будет рассказано об анатомо-физиологических данных и психофизических особенностях женщины. И о культуре эмоций, гигиене быта, физических упражнениях. Я хочу провести параллель между Венерой Милосской, Джоконой, Наташей Ростовской и современной женщиной. Конечно, не забуду и мужчину, ибо он в этом вопросе тоже кое-что значит... А главная моя цель — добиваться, чтобы физическая культура стала не просто увлечением — образом жизни...

«Да вы романтик!» — едва не сказал я. И удержался: уж очень не вязалось это молодое восторженное слово с возрастом Динейки.

Зря не сказал. Потом, задним числом, вспоминая этого человека, я все больше понимал: дело не в возрасте. Иногда человек старится в тридцать лет, иногда он молод в семьдесят. Ведь старость начинается, когда человек теряет интерес к жизни...

Вот сколько «чудес» в Друскининькае. Здесь лечит все: воздух, вода, грязи, тишина. Здесь лечат все — огромный список людских



болезней. Лечат даже то, что считается неизлечимым,— старость. И если кто приедет сюда просто с плохим настроением, то можно быть уверенным: он излечится и от этого «недуга».

«Самые прекрасные мелодии — в далеком Друскининкае», — писал Чюрлёнис. (Здесь, среди дремотных сосен и таинственных лесных дорожек, прошли его детство и юность.) С Чюрлёнисом нельзя не согласиться. Ибо в каждом из нас звучат прекраснейшие мелодии, когда тишина засыпает среди листвы и закат блестит на речной глади. Когда усталость в ногах, а не в сердце. И когда впереди еще много дорог и ты знаешь, что встретишь на них новые испытания и новые радости...

## ЧАСТЬ II



*Не сетуй на природу — она выполнила  
свой долг. Очередь за человеком.*

*Фрэнсис Бэкон*

### «...ТРУБЫ ТРУБЯТ ГОРОДЕНЬСКИЙ»

Неман множеством робких ручейков пробирался меж высоченных песчаных откосов в сосновых зарослях, в пятнах кустарников и оползающих дернин. Местами сердито булькал на каменистых перекатах и опять успокаивался, мелкими волнишками униженно лизал подошвы холмов.

Наше глиссирующее суденышко с красивым названием «Заря» едва успевало разбежаться, как опять вынуждено было грузно зарываться носом в воду и чуть не ощупью искать проходы в камнях. Наконец за очередным поворотом реки разом открылись густо-зеленые склоны и белые шеренги домов большого города. «Заря» лихо пронеслась вдоль людной набережной, распевелив шеренги дремлющих рыболовов, и приткнулась к деревянным мосточкам у каменистого откоса.

...Кто-то назвал этот город «перекрестком раздоров». И действительно, если оглянуться, мысленно прошагать по лестнице хронологии, то сколько можно насчитать на ней ступеней, «обугленных бедами»!

Первое упоминание о нем (1128 год) связано с войнами. В то время жители были заодно с киевлянами (местный князь Всеволодко приходился зятем Владимиру Мономаху), участвовали в походах на половцев и междоусобных войнах. Об этом городе вспоминает и «Слово о полку Игореве». Вспоминает невесело: «Унылы голосы, пониче веселие, трубы трубят городеньский». В 1183 году — первое опустошение. Как отмечает Ипатьевская летопись, «того же лета Городень погоре весь и церкви каменная от блистания молние и шибения грома».

А потом была полуторавековая борьба с крестоносцами. Город неоднократно разрушался и снова восстанавливался. В XIV веке только за десять лет (1314—1324) горожане шесть раз схватывались с крестоносцами. От тех времен сохранились в музеях клеветы — своеобразные кирпичи, которыми пробивались доспехи не-

мечких рыцарей, и огромные двуручные мечи крестоносцев с надписью: «Пей кровь».

Кто только не сиживал на этих холмах! Город был резиденцией литовских князей и польских королей. В XVIII веке в него входили шведы, в XIX — французы, в XX — дважды немцы. Много раз его разрушали, но он отстраивался вновь, этот северо-западный форпост древней славы русичей, — Городно, Городень, а по-теперешнему — Гродно.

Символом вечности возвышается на крутом берегу Немана Коложская церковь — почти ровесница города (построена в 80-х годах XII столетия). Под седыми дубами стоят все еще величественные апсиды с вмурованными в кирпич замшелыми валунами и гладкими плитами древней глазури.

А на другом краю города, словно символ молодости, поднимается лес сверкающих на солнце стальных труб и технологических колонн Гродненского химического комбината. Этот флагман белорусской «большой химии» возник посреди пустых полей столь быстро, что газеты дали ему поэтическое название «чудо на Немане». Комбинат стал чудом не только потому, что он крупнейшее предприятие на всем Верхнем Немане; он также явился базой для обогащения земель, преобразования этого обширного сельскохозяйственного района страны.

Академик Д. Н. Прянишников сказал как-то: «Если не говорить о воде, то именно азот является самым могущественным двигателем в процессах развития, роста и творчества природы. Его уловить, им овладеть — вот в чем задача; его сберечь — вот в чем ключ к экономике; подчинить себе источник, бьющий с неистощимой энергией, — вот в чем тайна благосостояния».

Здесь, на комбинате, азот превращается в аммиачную селитру и карбамид. Концентрированное безбалластное азотное удобрение рождается здесь буквально из воздуха, который служит сырьем.

Рядом с заводом-флагманом возникли другие химические предприятия. Избыток аммиака пошел на производство капролактама и опять же удобрения — сульфата аммония. Здесь даже газы, обычно выбрасываемые в атмосферу, — не отходы, а сырье. Из них получают соду, необходимую для борьбы с кислотностью почв.

— Сейчас завод работает на полную мощность. Большие бумажные мешки, доверху наполненные белыми шариками карбамида, напояющимися мелкий жемчуг, непрерывно идут по конвейеру. Эту «крупку плодородия», которая почти наполовину состоит из чистого азота, можно черпать пригоршнями, ведрами, хоть кузовами самосвалов. К ней привыкли, как к обыденному. А всего несколько лет назад ходили любоваться на нее, как на диво, напол-

няли ею маленькие колбочки и отправляли в Москву и Минск, в обком партии, в музей.

На заводе я узнал, что одна из самых первых колбочек с белыми крупинками карбамида была отправлена в подарок пограничникам, на ту самую заставу, которой гордятся все гродненцы, — заставу имени лейтенанта Усова.

Так в триумфальном сиянии современности вновь проступила эта тема города-воина, города-форпоста...

Я ехал на заставу мимо живописных, слабо всхолмленных полей и перелесков. На каком-то недалеком километре автомобиль свернул с асфальта, немного попылил грунтовкой и остановился возле одноэтажного белого дома. Среди цветочных клумб стоял памятник — коленопреклоненный автоматчик на пьедестале.

К памятнику подошли двое пограничников с автоматами, подсумками, ножами у пояса, повернулись лицом к надписям и застыли в стойке «смирно».

— Минута молчания, — объяснил встретивший меня лейтенант. — Каждый раз по пути на границу наряды подходят к памятнику и отдают честь павшим героям. Такая у нас традиция...

На заставе оказался целый музей — картины, фотографии, разбитые винтовки, ржавые стреляные гильзы. И был прямо-таки музейный экскурсовод, с тихим добрым лицом и живописными усами.

— Старшина Александренко, — представился он и повел нас вдоль витрин, рассказывая так, будто сам участвовал в том неравном бою.

— ...Ночь на 22 июня была теплая и такая тихая, что наряды ясно слышали на той стороне шум моторов, ржание лошадей, немецкие команды. Начальник заставы лейтенант Усов не прилегли на минуту. Ночью он дважды поднимал заставу в ружье, приказывал занять круговую оборону. И когда с той стороны загудели орудия и в рассветном небе появились чужие самолеты, заставка была готова к бою.

В первые же минуты первой жертвой войны пала жена Усова. Она была в помещении заставы, когда ударили немецкие снаряды. Побежала в окоп да будто споткнулась по дороге, упала на глазах у всех. Только горевать по ней было некогда. Фашисты шли в рост, пьяные, самоуверенные. Их подпустили на триста метров и сбили спесь меткими залпами. Фашисты били по окопам из минометов и пушек. Но каждый раз, как они поднимались в атаку, из окопов им навстречу хлестали пулеметные очереди.

Солнце подходило к полудню. Фашистские танковые колонны, слышно было, прошли на Гродно. А здесь, у границы, стойко держался маленький гарнизон, пугая планы врага. Поля и перелески вокруг были усыпаны трупами фашистов.

Но и защитников заставы становилось все меньше. Погибли красноармейцы Иванов, Кабаков, Аширов, Лысенко. Смертельно ранен инструктор службы собак Салыхов, убит повар Чубаров. Уронил голову на бруствер комсорг Кононенко. В пятый раз ранен лейтенант Усов. Белая в кровоподтеках повязка на его голове мелькала в окопе...

Много лет спустя удалось найти этот окоп. И над останками погибших был воздвигнут памятник. Чтобы помнили живые павших героев, учились у них мужеству и верности.

— Пойдемте, покажу вам окопы, — сказал старшина.

Они были совсем рядом. Поодаль темнела узенькая речушка, свежо зеленели поляны с редкими деревьями, бродили коровы. Над окопами стеной стоял кустарник, перепутанный и колючий. На бруствере густо росла трава, но внизу, на осыпях стенок, кое-где белел песок, и в нем темными пятнышками торчали ржавые железки.

— Тут прежде сосны стояли, — сказал старшина. — Высохли они. Когда спиливали, не одну пилу поломали об осколки...

Я уезжал с заставы со смешанным чувством печали и гордости. И пока мелькали за обочинами живописные мирные пейзажи, все думал о том пограничном дне, что лег огненным рубежом между миром и войной...

На другой день я встретил на берегу Немана человека, который снова напомнил мне о военных днях. Человек этот сидел в лодке и занимался делом довольно странным — опустив в воду термометр, измерял температуру реки. Это был 72-летний Владимир Михайлович Жемайдо, по специальности рабочий, по увлечению коллекционер. Только коллекция его необычна — таблицы гидрометеорологических наблюдений за много лет.

Жемайдо увлекся метеорологией в тот самый год, как перебрался сюда. До двадцать восьмого года он жил в городе, под Замковой горой. А потом от крепостной стены отвалилась глыбина, сломала сарай, задавила поросенка. И местные власти переселили с опасного места за город, к живописному леску с красивым названием Пышки.

Тишина обступила его тогда, как отшельника. Ночами просыпался от тяжелых всплесков рыбы под самыми окнами. Редки были голоса людей в этом месте. В жизнь входило другое: шум ветра в старых ветлах, далекий скрип уключин в рассветном тумане, кафельдоскоп закатов над светлой излучиной Немана.

Тогда-то Жемайдо и купил первый термометр, стал записывать температуру — утреннюю, вечернюю, минимальную, максимальную, направление и силу ветра, облачность, осадки и все прочее, что казалось интересным. Это стало его страстью на всю жизнь, его удовольствием.

Никто, кроме родных, не видел, как он опускал термометр в Неман, подолгу глядел на пестрые краски неба, как доставал потом из старого чемоданчика заветные тетради. В них записаны все дни. Даже 22 июня 1941 года: «Ясно, ветер северный, температура в 7 часов утра  $+12^{\circ}$ ...»

В то утро Жемайдо получил осколок в шею.

Но записи не прерываются ни на один день. Теперь они едва ли не единственные в этих местах метеорологические сведения времен войны.

Самому Жемайдо те дни помнятся не только дождями да туманами, но и частыми обысками, каждый из которых прибавлял седин и ему, и жене, потому что в тайнике под обрывом много раз прятали они беженцев. Фашисты оставили Жемайдо одну лодку, потребовали ловить для них рыбу. Если бы они знали, сколько раз эта лодка ночами пересекала Неман, перевоза советских бойцов, бежавших из фашистского плена к партизанам!

И лишь с 13 по 23 июля 1944 года в записях перерыв. В те дни советские войска вели бои за переправы, и Жемайдо вместе с советскими снайперами выслеживал фашистских «кукушек», указывал броды, перевозил бойцов на западный берег. Тогда прямым попаданием фашистского снаряда была убита жена Владимира Михайловича...

Должно быть, так у всех городов-форпостов: войны накладываю-ют отпечаток на каждый их дом, каждую улицу, каждого человека. Любовался ли я высокими мостами через Неман — мысленно видел мертвые опоры посреди реки, взорванные, обугленные фермы. Ходил по зеленым улицам Гродно, а вспоминал рассказы о сплошь разрушенных кварталах. Глядел на корпуса Гродненского тонко-суконного комбината, хлопкопрядильной, обувной, мебельной, швейной и прочих фабрик города, а думал о том, что все это построено заново, что после войны не было в городе ни одного целого предприятия.

Даже в тихом зоопарке мне напомнили о войне, рассказав историю создателя этого уникального собрания живых редкостей, учителя местной гимназии Яна Кохановского.

Он начинал со школьного зверинца. Когда звери начисто сожрали скромную зарплату учителя, у Кохановского появилась идея создать Общество любителей природы. Охотников нашлось немало. Членских взносов хватало, чтобы прокормить зверей. И еще осталось на приобретение всякой другой живности.

Скоро школьный двор был весь заставлен клетками. Пришлось подумать о другом месте для любительского зверинца. После долгих хлопот удалось выпросить у магистрата четыре гектара в пойме реки Гродненчанки. Место расчистили, проложили дорожки, по-

строили забор. В 1927 году состоялось открытие гродненского зоопарка.

Двенадцать лет спустя, после воссоединения Белоруссии, зоопарк был узаконен государством и получил средства на расширение. Ян Кохановский по-прежнему оставался его душой.

Скоро началась война. Фашисты истребили или вывезли в Германию всех редких животных. А приверженность Кохановского к общественному делу расценили как помощь коммунистам и расстреляли его.

Вот так. А еще говорят, что коллекционирование — личное дело каждого. Да это как стихи, которые, по уверению поэтов, «пишутся для себя». Вроде бы они и не рассчитаны на массы. Но где-то в душе каждый поэт, точно как и коллекционер, мечтает передать людям плоды своей страсти. И как бы собиратель редкостей ни дрожал над своими сокровищами, каким бы замкнутым ни был, он все же глубоко общественный человек. Ему претит эгоизм, барышничество, равнодушие. Не случайно в, казалось бы, далеком от политики и общественной борьбы собирателе редких животных Яне Кохановском фашисты увидели своего врага...

#### НА «ЩАРЕ» ПО ЩАРЕ

— Неман-батюшка? — переспросил матрос, послушав мои восторженные эпитеты. — Ну-ну...

У матроса была веселая фамилия — Заяц. Вообще мне попалась интересная команда: матрос — Заяц, механик — Козел; матрос — весельчак и балагур, механик угрюм, молчалив и немного упрям. Третий, главный член экипажа — капитан Кузьмицкий выглядел строгим, даже суровым, а оказался добрым, отзывчивым человеком.

Поездка эта вышла неожиданно. С первого дня в Гродно я ломал голову над тем, как плыть дальше. Ведь никаких пассажирских или хотя бы регулярных грузовых рейсов вверх по Неману не существовало. Лодку можно было купить, но как ею воспользоваться, если даже моторки с трудом выгребали против течения? Выручил начальник гродненской пристани Михаил Петрович Лапо, предложив место на небольшом водометном теплоходике «Щара», которому предстояло плыть в Слоним.

В день отплытия я с утра явился на судно. Точно в 13.00 мы отвалили от бревенчатой стенки. Все было до обидного буднично: никто не всплакнул на берегу, никто не помахал белым платочком. Только рыбак, удививший возле пристани и едва успевший выдернуть поплавок из-под теплохода, прокричал нам вслед что-то «прощальное».

Гродно дымил позади, съеживался. Город, в котором сохранились древнейшие памятники архитектуры и который все же оставляет впечатление молодого. Это происходит потому, что войны, особенно последняя, основательно проредили город, и теперь старина в нем как оазисы в море новостроек. С холмов, от Коложской церкви и Старого замка, открываются виды на высокие мосты и новые районы заречья. Рядом с иезуитским костелом сверкают широкими окнами современные здания. Есть улицы, где в стеклянные магазинные витрины смотрятся старые острокрышие домики противоположной стороны.

Гродно запомнился еще новыми промышленными районами, полукольцом охватившими город.

У каждого города теперь есть эти «кольца» промышленных новостроек. И все же каждый запоминается чем-то одним, особенным. В Клайпеде это были темные пасти доков, в Каунасе — приземистые, сверкающие стеклянными стенами корпуса завода искусственного волокна, а в Гродно — высокие трубы и серебристые колонны химического комбината. Новая промышленность не унифицирует города, скорее она, каждый раз по-своему, обогащает их облик...

С Немана заводов не видно. Над Неманом — только пригородные дачки, спрятавшиеся в зелени обрывистого правого берега. Скоро обрывы зазмеились пластами древних отложений, взгорбились песчаными буграми в редких пучках травы, напоминавшими бугристые пески Каракумов. Было удивительно видеть их здесь, в Белоруссии, крае дождей и туманов. Тогда я еще не знал, что этот «кошмар пустыни» будет преследовать меня всю дорогу.

Над низкой водой упирались в небо высоченные мосты, предусмотрительно рассчитанные на половодье. Подумалось, что неплохо бы поставить на Немане несколько плотин, поднять воду — и для этих прибрежных песков, и для местной промышленности. И пустить по реке теплоходы посOLIDнее. Ведь Неман с его крутыми берегами будто создан для большой воды. Даже мосты здесь не пришлось бы перестраивать.

Теплоход вдруг дернулся, словно его схватили за руль. Забурлила пеной волна за кормой, развернулась поперек реки, начала обгонять судно.

Матрос Заяц снял с крыши рубки полосатый шест, сунул в воду.

— Семьдесят!

— Чего семьдесят?

— Сантиметров.

— Как же мы плывем?!

— Еще меньше будет, — пообещал он.



Вот тебе и Неман! Глянешь — на полверсты ширь. А чем шире, тем мельче.

И началось. Чуть ли не каждый час металлический флажок флягера на носу задирался вверх, и мы прямо ногами чувствовали мель. Захочешь — не потонешь. Не то чтобы «с руками», а по грудь человеку — уже глубина, уже плывем и горя не знаем.

Отличное судно — водометное: сядет брюхом на песок, поерзает на месте, пошевелит кормой, глядишь, и прошло.

— Петушок! — крикнул капитан в раскрытое окно рубки, показывая рукой на километровый столб на берегу с цифрой «555». — Скоро Богатыревичи.

Над высоким обрывом, над кипенью садов виднелись темные старые крыши. На берегу у воды играли ребятишки, раскачивали высоконосою лодку. Притихли, увидев, что мы поворачиваем к берегу, отбежали от воды, замерли в нетерпеливом любопытстве.

Перед деревней был глубокий зеленый овраг с белыми рваными откосами у выхода. Тот самый овраг, о котором знают едва ли не все геологи мира, — знаменитое обнажение Самострельники, один из важнейших памятников белорусской природы. Здесь у самой поверхности лежат древние межледниковые торфяники, в которых найдены остатки многих ныне вымерших растений.

Вообще древностей в этих местах не занимать. Я знал, что если за Богатыревичами выйти на шоссе и сесть в автобус, то за час можно доехать до Красносельского, где сорок пять веков назад находился крупнейший в тогдашнем мире бассейн по добыче кремня. Дело было поставлено на широкую ногу. В сотнях шахт, соединенных подземными коридорами, при свете костров шахтеры каменного века долбили породу кирками, сделанными из костей и рогов.

Теперь там, на берегу неширокой речки со знаменательным названием Рось, расположен пещерный музей, уникальный, но мало кому известный...

Полный естествоиспытательского пыла, я соскочил на берег и побежал в овраг. И ничего не нашел. Овраг, как овраг, с зеленой травой и тропками на склонах. Наверху, возле одинокой могилы, гремели на ветру прибитые к соснам жестянки с надписями, что это-де и есть обнажение Самострельники, памятник природы, который трогать не полагается. Я походил вокруг, поковырял ногой мягкую хвою под соснами, нашел камешек, положил в карман на память.

Потом подошел к капитану, стоявшему возле одинокой могильной ограды.

— Кто тут похоронен?

— Ян и Цицелия.

Так вот они где, эти влюбленные, известные по легендам всей Белоруссии, — крестьянский парень Ян и панская дочка Цицелия! Легенда говорит, что родители Цицелии, узнав об их любви, не очень обрадовались. Но Цицелия решила по-своему: взяла да и сбежала со своим Яном. Выстроили они дом над Неманом, возле оврага, о геологической ценности которого, конечно, не догадывались, и стали у них рождаться сыновья, богатырь к богатырю. Так появилось село Богатыревичи.

Мы спустились к реке и отплыли, провожаемые крикливой толпой ребятишек, сбежавшихся со всей деревни.

Затемно подошли к Подборянам, прислонились бортом к обрывистому берегу, как к причальной стенке. Даже мостков не понадобилось: ровный, как стол, берег был на уровне палубы. Прибежала маленькая черная собачонка, радостно повизгивая, заметалась вдоль берега.

— Жук! — ласково позвал капитан, перешагивая на берег. — Теплоход издалека узнает. Это ведь моя деревня, — пояснил он. — Сейчас и жена придет.

Из сумрака вышла женщина в длинном платье, остановилась поодаль.

— Вот так уж четверть века встречи да провожания. Как в сорок четвертом стал тут плавать...

А женщина, словно Скорбящая мать из Пирчюписа, все стояла поодаль на самой кромке обрыва, не подходила. И Викентий Николаевич не бежал к ней. Видно, давно уже пришло к ним философское спокойствие разлук. Видно, привыкли к сдержанности встреч. Может, и так: ведь он уже пенсионер, а она даже чуть старше его. Но мне было не по себе. Я постоял в сторонке и пошел по берегу в темень. Потолком малогабаритной квартиры висел над самой головой звездный свод. Оглянулся из тьмы: вдалеке одиноко светилась лампа-переноска на палубе. Глухо звучали дальние голоса: матрос Заяц, выполнявший обязанности повара, собирал ужин...

Рассвет я проспал. Проснулся, когда солнце тугими струями било в иллюминаторы. Вставать не хотелось. Но пришел товарищ Заяц, крикнул в приоткрытую дверь:

— Мосты будете глядеть?

За иллюминатором и впрямь мосты — один деревянный, другой лишь обозначен мощными гранитными опорами, стоявшими как памятники посреди реки. Этот другой мост был взорван в войну.

— Город так и называется — Мосты, — пояснил Заяц.

Теплоход медленно проплыл вдоль высокого берега, обходя стороной плоты из тонких бревен, сплавляемые для Мостовского лесозавода. И скоро добрался до того места, где за песчаным бугром, у деревни Новоселки, открывалась река Щара.

...Если у десяти москвичей спросить, известно ли им что-нибудь о реке Щаре, то, думаю, девять отрицательно покачают головами. А между тем о Щаре можно сказать, как о Немиге в «Слове о полку Игореве», что на ней «кровави брезе не добром бяхнуть посеяни — посеяни костью русских сынов».

Потому что Щара была партизанской границей, линией фронта в тылу врага.

Но прежде чем мы нырнули в узкое устье Щары, была еще одна остановка на Немане.

Викентий Николаевич не предупредил заранее, сам причалил к правому берегу.

— Памятник обязательно посмотрите, — сказал он.

И первый шагнул на берег, пошел по взгорью, туда, где за невысокой оградкой коленопреклоненная женщина на пьедестале плакала над большой бетонной плитой.

— Вот здесь была деревня, — вздохнул Викентий Николаевич. — Только группа уцелела.

Старая груша одиноко стояла над могилой, наливала свои маленькие плоды, похожие на капли слез. И шумела, шумела на открытом ветру, будто нашептывала горестную быль о том дне. Как примчались враги, озлобленные действиями партизан в окрестных лесах, как педантично сортировали людей, прочесывали спелое жито, выгоняли спрятавшихся крестьян. И расстреливали. А потом взметнулось пламя над избами. И когда остыл кислый дым, наступила тишина. С тех пор стоит груша одинешенька, роняет по осени на бетонную плиту свои плоды, похожие на капли слез. Плоды, которые никто не собирает.

Вот это-то одиночество памятника и дерева среди чистого поля и было здесь тем главным, что заставляло в молчании слушать шорохи листы, похожие на вздохи, и остро переживать печаль пустоты.

А надпись на памятнике безучастно сообщала о том, что здесь похоронены 600 жителей деревни Княжеводцы, зверски убитых фашистами 23 июля 1943 года. А ведь здесь не просто 600 жителей — все жители до единого, включая самых малых ребятшек. А ведь деревня стояла именно тут, где теперь поле. И эта груша не просто дерево — единственное живое, уцелевшее от погрома...

Мы входили в узкое устье Щары осторожно, промеряя глубины на каждом метре. Река быстро несла черные торфяные воды мимо болотных и песчаных берегов, мимо дубов и сосен. Редко-редко попадались осины, зато много было осиновых пеньков, заточенных, словно карандаши: работа бобров. Иногда на склонах невысоких обрывов мы замечали в песке желоба — будто дети съезжали здесь к воде на «пятых точках», — бобровые тропы.

Когда вечернее небо высветило воду перламутром, увидели первого бобра. Он плыл через реку, по-собачьи высунув из воды морду. Нырнул, когда до теплохода оставалось метров двадцать. Другой кинулся к берегу, но вода отступила перед набегавшей волной, и он забился на мелководье крупной рыбиной.

Когда-то бобров в этих местах было пропасть. Самый последний мужик не считал за честь носить бобровую шапку. Но в средние века их численность стала быстро уменьшаться, и местные вельможи, чтобы сохранить для себя охотничьи угодья, под страхом смерти стали запрещать отлов бобра. «Кали забъешь бабра, не будзеш мець дабра», — говорили крестьяне. Однако вельможи оказались плохими радетелями природы: постепенно бобры были истреблены почти повсеместно. Численность их стала увеличиваться лишь в советское время, когда помимо соответствующих законов были приняты еще и меры по расселению редких животных. Сейчас в Белоруссии около 25 тысяч бобров — почти половина всего поголовья этих зверей в стране.

Когда стемнело, мы причалили к берегу, скинули мостки. Ночь быстро опускалась на лес, затушевывая речной туман. Звезды вставали, как луны, крупные, немигающие. Глухая тишина повисла над округой. Не всплескивала рыба, не шевелился ветер. Вселенная будто занемела, уснувшая или зачарованная.

Я ходил в кромешной тьме по кромке берега и думал о Щаре. На левом берегу тогда были немцы, на правом — партизанский край. А вдоль реки — пепелища: каратели создавали мертвую зону. Великая Воля, Черлонка, Трухановичи, Щара, Городки — вот скорбный список местных деревень, уничтоженных вместе с жителями, список страшный уже тем, что он далеко не полон...

Утром меня разбудили крепкие словечки, звучавшие так, словно вокруг был не лес, а пустая комната. Вышел на палубу, увидел над дальними кустами красное яблоко солнца и белый туман над Щарой.

— Вода спала, — сказал Заяц.

— Чего это?

— Дождей нет. На Щаре неделя без дождей — и можно загорать. Тут сплошные перекаты.

Мы сели на мель за первым же поворотом. Теплоходик, словно слепой котенок, потолкался носом, нашел глубинку и застучал дальше. К другому перекату.

Так добрались до Великой Воли. Она по соседству с Малой Волей. Малая — это довольно большая деревня, а в Великой всего несколько изб.

В одной из этих изб мы и разыскали худощавого грустного человека, Бориса Борисовича Стырника, ныне путевого рабочего на реке. На низком бережку он рассказывал нам о давно минувшем.

Сначала о том, как летом сорок первого вот на этом самом месте переправлялись через Щару советские части, отходившие от западных границ. Шли на мост, но его уже не было — разбомбили. Тогда жители — потомственные плотогоны — пригнали плоты, настелили на них досок от заборов, клали двери, снятые с петель.

— Трудная была переправа, — тихо, без выражения говорил Стырник. Лицо его все время оставалось печальным. Если он и улыбался изредка, то кривил губы, словно хотел заплакать.

Мы не тянули за язык, знали: нелегки для него воспоминания. Мне и прежде рассказывали о том, как зимой сорок второго года этого человека вместе с семьей и со всеми жителями деревни расстреливали каратели. Упал он на своих односельчан и сдержался, не застонал от боли. Слышал, как фашисты ходили по трупам, добивали раненых. Стерпел, когда холодный сапог наступил ему на голову, выдержал, не шелохнулся. А ночью, теряя сознание от потери крови, выполз из оврага, где среди других остались его мать и жена Лариса.

На том месте в молодом березняке стоят теперь три огромных старых креста, вытесанных из целых бревен. Стоят, словно символы Аппиевой дороги, словно остатки Голгофы, на которой распинали народ. А рядом другой памятник, современный, в сплошном букете цветов — золотых шаров, поднявшихся к самому верху пьедестала...

И снова была борьба с перекатами. Временами теплоход разворачивался кормой и долго гремел шестеренками, гнал воду, промывая себе канал. И так на каждом пятом из 93 перекатов на 94-километровом отрезке от устья Щары до Слонима.

Слоним подарил хорошую, не жаркую и не дождливую, погоду и отличное настроение. Есть какая-то особая прелесть в маленьких городах. Жить в них почти так же удобно, как в больших городах, и так же приятно, как в деревне. Заповедная тишина соседствует здесь с модными кинотеатрами, рыночная толчея — с парфюмерными запахами универмагов, глухомань — с удобными средствами сообщения. И до всего рукой подать — до лесной непролази, до влажных лугов и до областного центра. Наверное, нигде старое так тесно не переплетается с новым, как в этих маленьких районных городишках.

Слоним возник в XII веке. Был он сначала военной крепостью, потом заброшенным в бездорожье городком мелких ремесленников. Слава пришла к нему после того, как эту излучину Щары олюбовали польские магнаты. Тогда появились здесь плотины, шлюзы, каналы, красивейшие парки, роскошные дворцы. Известный композитор М. Огинский часто наезжал сюда, хаживал по парковым аллеям, вслушиваясь в звуки своих полонезов...

В первый же час я услышал в Слониме мелодию полонеза

Огинского. Она не забылась, звучала в ушах и когда я ходил по-над каналами, и когда осматривал памятники старины, слышалась и в скрипе местной лесопилки, и в шуме тонкосуконной фабрики, и даже в гроыхании ночных грузовиков под окнами гостиницы. Должно быть, полонез Огинского сыграл не последнюю роль в моем решении плыть дальше на собственном транспорте. На Щаре я купил у рыбака старенькую лодку-плоскодонку. Выплыл за город в луга, развернул слежавшуюся палатку и заночевал возле ароматных копен.

## ПЕРЕВАЛ

Проснулся я от холодной сырости. Густой туман заливал луга. Не было ни речки, ни прибрежного тальника, только серый слой тумана, над которым темными валунами высились вершочки копен. Я забрался в одну из них, надеясь согреться и доспать свое. Но так больше и не уснул. Глядел сквозь редкую сетку травинок на разгоравшуюся зарю и думал о сложной судьбе народов, через которые пролегла эта древняя дорога «из варяг в греки».

Как и тот, «главный», по Волхову и Ловати, этот путь тоже проходил, если говорить современным языком, через дружественные народы. Путь этот перестал существовать в XIII веке, разорванный нашествиями — крестоносцев с запада и татаро-монгольских орд с востока.

Но вскоре после того, как татаро-монголы, достигнув своей почти пирровой победы над Русью, рассеялись, озабоченные борьбой с непрерывно восстающими русскими, на северо-западе начало подниматься княжество Литовское.

Несомненно, есть историческая закономерность в том, что две крупнейшие битвы — Грюнвальдская и Куликовская, явившиеся переломными в освободительной борьбе народов, случились почти одновременно.

Литовское княжество, вобрав в себя Волынские, Витебские, Турово-Пинские, Киевские, Переяславские, Черниговские и другие земли, в первое время было не только литовским, но и русским. Это государство так и называли Литовской Русью. Русский язык (тот самый, из которого вырос теперешний белорусский) был официальным. На нем велось судопроизводство, писались административные акты и даже королевские грамоты. «Без русского языка в Литве и на Жмуди будешь словно дурак», — отмечали современники.

Итак, после разорительных погромов Русь начала возрождаться: росли, ширились уже два государства — Московия и Литовская Русь. Но эта двойственность и сыграла с народами злую шутку.

Историю нельзя судить по принципу «что было бы, если бы...» Но иногда трудно удержаться от соблазна. «Вот если бы эти два государства объединились в одно,— думал я,— скольких бед избежали бы народы! Возможно, не было бы многих войн, раньше удалось бы скинуть татаро-монгольскую кабалу, туркам и крымчакам не позволили бы начисто разорить Поднепровье...»

Такая мечта — не абстрактная блажь далекого потомка. К этому стремились и современники. Князья Олелькович, Бельский, Ольшанский, Воротынский, Вяземский, Мезецкий, Можайский, Глинский в разное время боролись за объединение русских земель. Простой же народ всегда мечтал о единстве. Сколько смелых и решительных людей положило головы на алтарь этой идеи!

Но на каком-то повороте история сплоховала. Польша и Литва, с помощью Руси разгромившие Тевтонский орден, не продолжили победу до полного изгнания крестоносцев, до искоренения древнего «дранг нах остен». Вместо этого они стали как бы духовными наследниками немецкого рыцарства, противопоставив себя великой, но разобщенной Руси. Польские паны и их наставники — католические епископы начали экономическое и духовное закабаление русичей в подвластных Речи Посполитой областях. Народ восставал. Иные крестьяне уходили на восток, в Московию, иные подавались на Днепровские пороги, где собиралась голытьба, сколачивалась в вольное казачество.

В среде образованных людей наиболее ревностным защитником народа был Мелетий Смотрицкий. Он много ездил, много видел и в своих сочинениях, несмотря на смертельную опасность, разоблачал униатов, протестовал против насилия иезуитов, высказывался за справедливость и правду. Он писал, что такова уж сила и особенность правды: если кто стремится задушить или затмить ее, то все более утверждает правду и придает ей света.

Это был тот самый Смотрицкий, что составил первую грамматику русского языка. Грамматику, по которой учился Ломоносов.

Вот каково было это время, разделившее Русь на Россию, Белоруссию и Украину. Оно освящено не гаснущей в веках идеей единства.

Но много воды утекло, прежде чем эта идея нашла свое воплощение в союзе равноправных советских республик. И не случайно именно в наше время возникло намерение возродить древний водный путь поперек материка — от моря до моря...

Я размышлял «о времени и о себе», пока не взойшло солнце. Туман поредел, поднялся всем слоем и растворился в струях слабого верхового ветра. И тогда на открывшей сверкающей глади реки я увидел круги — играла рыба. Тяжелые всплески разбудили в душе давно позабытый рыбацкий восторг. Торопясь от нового

возбуждения, я достал удочки, привязал леску к первой попавшейся палке и побежал к берегу.

Окуни глотали червей вместе с крючками, тревожа сердце воспоминаниями. Когда-то давно-давно я едва не стал заядлым рыболовом. Мальчишкой ходил с соседскими парнями ночевать на реку. От тех ночевок остались воспоминания: звезды над темными кустарниками, жуткое, неожиданное блеяние козодоя в ночи, парная вода реки, холодная радость зорь, туман, из которого потом выныривало усыпляющее тепло солнца... Но пришла война, охладилась заботами рыбацки нежности, едва не сделал меня заядлым технарем. Слесарные тиски, электромоторы, вольтметры и все такое прочее стало новой страстью.

Много позже опять зазудела тоска по чистому небу, ветру, полю — открытому, в цветах и травах... Это было не прежнее, а что-то другое — более печальное и радостное, глубокое, ненасытное. Видно, жизнь пошла по второму кругу...

Из-за дальнего поворота вынырнула трескучая лодчонка.

— Привет! — крикнул лодочник, заглушив мотор. — Куда плывем?

— Вверх.

— Цепляйтесь. На веслах намучаетесь.

Мы плыли по извилистой Щаре меж низких сырых берегов. Леса стояли за кочковатыми полями, далеко отступив от реки, — березняки, ольшаники, осинники. Начинались места, где без проводника не разгуляешься, край великих болот, беда и спасение народа — Полесье.

...Болота лучше крепостных стен спасали от врагов. Здесь, среди топей, искали ученые этнографические корни нации. «Века пролетали над полещуками, почти не задев их своим разрушительным крылом, — писал один путешественник в книге, изданной сто лет назад. — Тогда как вокруг племена и народы передвигались с места на место, сталкивались друг с другом, распадались на новые группы, образовали новые коалиции, являлись там, где и не думали очутиться, делались тем, чем и не предполагали быть, — ятвиги боязливо прислушивались из чащи своих древних лесов к бранным кликам соседей, робко выглядывали из неприступности своих трясин на волнение народов и, в случае приближения опасности, отодвигались только в глубь доступных им лишь своих естественных укреплений и как бы плотнее прижимались к груди своей кормилицы и защитницы природы».

Полесье не случайно стало гранью между землями, павшими под копыта монгольской конницы, и вознесшимся Литовским княжеством. Но сама эта грань — немереная и нехоженная — долго еще оставалась неведомой землей. Если о России в Западной Европе узнали чуть ли не одновременно с открытием Америки, то о



Полесье еще в середине прошлого века писали, что для многих «знакомее страна африканских дикарей, посещенных миссионером Ливингстоном...».

Вот каким еще в прошлом веке был этот край, в который мы везжали под веселый треск подвешеного мотора.

Когда-то, в одну из своих командировок, я заезжал в сердце полесских болот по отличному шоссе. Командированным, я ничего такого не заметил, жизнь как жизнь. Но один раз, когда за селом Великая Гать замельтешили названия других сел — Воля, Вулька, Святая Воля, я почувствовал отголосок былой глухомани, былой мужицкой надежды на вольную жизнь за болотами.

Теперь дороги пересекают Полесье во всех направлениях, доходят до самых глухих сел, куда прежде путь был только зимой. Деревни превращаются в рабочие поселки, поселки — в города. На некогда непроходимых болотах встают электростанции, работающие на местном торфе. Одна из них, Березовская ГРЭС, — крупнейшая новостройка в республике. Любой ее агрегат по мощности превосходит все довоенные электростанции Белоруссии.

По всему Полесью болота превращаются в пашни. В одном только Ивацевичском районе, через который бежит Щара, мелиораторы за последние 8—10 лет почти удвоили площадь колхозных полей.

Кое-где пашни подходят и к Щаре. Но чаще колхозные поля прячутся за лесами, и кажется, что здесь, среди осок и прибрежных зыбей, первозданная природа.

Местами на берегах светлели песчаные проплешины, казавшиеся неестественными среди болотин. На одном из таких мест я увидел избушку, попросил отцепить мою плоскодонку и остался один в тишине полесских лесов.

Избушка оказалась обитаемой. В ней коротали лето дед Бронислав и бабка Рая, заготавливали на зиму грибы да ягоды.

Вечером пришла великая тишь. Только и было всех звуков, что всплески рыбы над бочагами да жалобный стон невидимых комаров. Закат широко пламенел над речкой, превращал водную гладь в тяжелый металлический расплав. Осинник за избушкой лопотал что-то свое, монотонное и бесстрастное, напоминая болтовню тетушек в застоявшейся очереди. «Ах, осина ты, осина, ветра нет, а ты шумишь». О чем ты шумишь, осина?..

Утром солнце вышло на миг и сразу же нырнуло под тучу, тяжелую, как театральная занавес.

Днем ухнул ветер, хлестнул дождем по стеклам.

— Куда вам ехать! — сказал дед Бронислав. — Сидите пока, всё под крышей.

И я остался. На другой день, закутавшись в прозрачную пленку, пошел по грибы. Дождь то моросил едва, то принимался сту-

чать по балахону. Но потом пошли ядреные подосиновики, и дождь будто пропал.

Рассказывать про эти грибные дни нет смысла. Кто знает, что такое увидеть на чистом пяточке меж стволов семейку красных-головых здоровячков с лихо заломленными прошлогодними листочками на макушках, тому не надо ничего описывать. А кто не знает, все равно не расскажешь. Еще долго после мне снились грибы — не в супе, не на сковородке, даже не там, где росли, а будто в ладонях поворачивались перед глазами тугими бордовыми шляпками.

Но пришла и скука. Начало вспоминаться читанное где-то, что в Белоруссии каждый второй день с осадками, которые чаще всего бывают в середине лета, что здесь с неба падает воды больше, чем испаряется.

Однажды вечером усилился ветер. Дед Бронислав вышел к речке, поглядел на хмурое небо, швырявшееся дождем.

— Ну, слава богу, погода будет, — сказал он.

Ночью я проснулся от странного нового звука. Прислушался — скрипит сверчок. Подивился: откуда он? Вылез из спального мешка, вышел к реке. Над головой тускло поблескивали частые звезды. Остророгий, словно опрокинутый на спину месяц висел высоко над лесом. И уже разметнулась во всю ширь пока еще блеклая ранняя заря.

Так я и не ушел досыпать. Ходил по мокрой траве вдоль опушки, слушал, как дремотно вздрагивают осины, стряхивают с листьев остатки дождя.

Утром наспех распрощался со стариками. Мне не терпелось плыть дальше, а они торопились по грибы: тоже, видно, намаялись без дела.

Целый день я пробивался на веслах против течения. Первые часы еще смотрел по сторонам. Потом, когда заныли руки, мне стало не до красот. В конце концов я догадался использовать весло вместо шеста. Местами получалось хорошо, но иногда топкое дно цеплялось за весло, и тогда лодку относило назад. Это плавание против течения улеглось в памяти где-то рядом с ползанием по-пластунски в учебном батальоне: так же трудно и так же медленно.

Когда я дошел до точки и готов был бросить лодку, чтобы пробиваться дальше пешком, — увидел справа врезанные в берег ржавые железные ворота. Это был шлюз. За ним начинался Огинский канал.

Обрамленная бетонными берегами, вода в шлюзе казалась старым потемневшим зеркалом: вся в пятнышках сора, она без искажений отражала небо. На другом конце были еще ворота, а за ними, безусловно ровная, как современная магистраль, уходила

к горизонту широкая полоса канала. По берегам у самой воды и, казалось, на ее уровне шеренгами стояли березы и осины.

Неподалеку от шлюза виднелась избушка, утонувшая в траве по самую крышу. У входа дымил костер, и какой-то человек, сидя на корточках, помешивал угли под черным котелком. Мое появление не вызвало у него любопытства. Потом выяснилось, что новые лица здесь не редкость: рыболовы давно уж прослышали, что у шлюза хорошо ловится щука на спиннинг, и добираются сюда бог весть из каких дальних мест.

Я привязал лодку и пошел к избушке. По дороге носом к носу столкнулись с высоким человеком в брезентовой куртке и форменной фуражке лесничего. Он стоял возле густых зарослей золотого шара и задумчиво глядел на неподвижную воду. Цветы и эта кладбищенская безучастность человека напомнили не раз виденное на партизанской Щаре.

— Здесь кто-то погиб?

Человек кивнул.

— Но их больше,— сказал он.— Ни одного не выпустили.

Мы пошли берегом вместе, представились на ходу. Новый знакомый оказался лесником-егерем. Звали его Константин Павлович Соутин. Всю войну он с матерью, двумя малолетними братьями и сестренкой прожил в этих лесах бок о бок с партизанами. В августе сорок второго двести карателей хотели проникнуть по каналу на Щару. На лодках они пересекли Выгоновское озеро и добрались до шлюза. Здесь их встретили партизаны. Бой длился целый день.

— Вон там сидел эсэсовец с пулеметом. С ним больше всего хлопот было. Но и он не ушел. Потом мы, мальчишки, ходили сюда искать оружие. Свободно ходили. Потому что фашисты больше не совались.

Соутин помог перетащить лодку из Щары в канал, сказал, что на таком судне Выгоновское озеро пересекать рискованно, прицепил ее к своей моторке и поволок по зеркальной лесной просеке. Начались кувшинки над черной глубиной, волны мягко гладили невысокие валы берегов, насыпанные когда-то мужицкими руками. С трудом верилось, что такая широкая водная дорога через непроходимую глушь прокладывалась с помощью лишь лопат да тачек. Сколько, должно быть, пота и слез пролито, сколько костей легло под эти прибрежные валы!

Так, без единого поворота, канал и вошел в Выгоновское озеро. Мы обогнули болотистую низинку и заскользили куда-то влево по бесконечному лабиринту протоков, зажатых стенами тростника и осоки, частыми островками низкого телореза. Утки то и дело вылетали из зарослей, встряхивая в наших душах рудименты охотничьих страстей.

Так вот оно какое, Выгоновское озеро! Не было на пути и, я знал, не будет больше такой первозданности. Это еще не середина дороги, но главный перевал. До сих пор плыл против течения по рекам Неманского бассейна, дальше реки будут помогать.

Со школьных лет мне казалось, что водоразделами могут быть если не горные хребты, то по меньшей мере возвышенности. А тут равнинная, низменная местность. Но она как-то умудряется разделять бассейны двух крупных рек. При половодьях вода отсюда течет в обе стороны. А летом никуда не течет: держат плювы. Если бы не ворота у выхода в Щару, озеро превратилось бы в лужу.

Выгоновское озеро — самое глухое и самое мелкое из больших озер Белоруссии. На всех 26 квадратных километрах его акватории нет места глубже трех метров. А в среднем всюду человеку по грудь. Но лучше не проверять глубину таким образом, не вставать на дно: засосет подводная трясина. На дне глубокий, до восьми метров, ил — сапропель.

— Рыбы тут много, — кричал Соутин.

— А озеро не зарастет?

— Зарастет. Лет через триста.

Березняк стеной стоял на низком берегу за тростниками. Вскоре впереди показались вышка и домики под ней. Мы причалили к мокрым мосткам — единственной здесь береговой тверди. Дощатые тротуарчики бежали от мостков к домам и от домов к вышке. Они-то, эти мостки, с самого начала и дали понять: по берегам Выгоновского озера не погуляешь.

Вышел навстречу невысокий худощавый человек в зеленой форменной куртке, с дубовыми листьями на воротнике и красивой кокардой на околыше фуражки.

— Валявкин, лесничий, — назвался он и сразу же потребовал документы. Внимательно изучил все бумаги, выслушал рассказ о путешествии и лишь после этого скинул официальную маску, которая так не шла его маленькому, спокойно-добродушному лицу.

— Понимаете, у нас ведь заповедник — Выгоновский филиал Беловежской пуши. Охотникам сюда нельзя...

Валявкин рассказал, что сам он архангельский, работал в Беловежской пуше, заочно окончил Белорусский технологический институт, получил специальность инженера-лесоведа; что семья его живет по ту сторону озера — в Выгоношах, что ему тут очень нравится и что этот болотный лесной край он не променяет ни на какие города.

Мы еще поговорили о разных разностях и устали было расспрашивать друг друга. Но потом я сказал:

— А леса-то у вас не ахти. Я думал, вековые в Полесье, а поглядел сплав на Щаре и Немане — так, жердпшки...

И этой безобидной фразой нечаянно зацепил какую-то слишком натянутую струну. Больше мы ни о чем не говорили, только о лесе, переполнялись новой болью за «зеленого друга», новой любовью к нему.

Вечер отзудел комарами. Погас закат над озером. Взошла луна, бросила на тихую воду свою неизменную серебряную дорожку.

Мне захотелось прогуляться по этой дорожке. Сел в лодку и оттолкнулся кормовиком от плюхающих мостков. Затаившимися островами чернели тростники. Жутко поблескивала густая, как нефть, вода. Казалось, что вот сейчас вынырнет из этой воды нечто и...

Ночь подступала совсем близко, непроглядная лежала за ближними осоками. Тишина была глухой, как в погребе или, может быть, в космосе, без эха. Мелькнула мысль, что могу заблудиться в зарослях. Я повернул лодку и поплыл назад, стараясь держать луну точно за спиной. Скоро на фоне неба вырисовалась стена леса, засветился слабый огонек внизу. Вблизи берега пришло успокоение, и снова поползли мысли о первозданности природы, о лесе — этой едва ли не главной пуповине, связывающей нас с матерью-природой.

Ученые уверяют: «Если бы леса не появились на Земле, она не знала бы и третьей части видов животного царства и, может быть, даже человека». И поныне лес — творец и страж плодородной земли, чистой воды, свежего воздуха. Может, когда-нибудь, через тысячу лет, человечество сумеет создать такие аппараты, что заменят удивительную способность леса очищать воздух от углекислоты и обогащать его кислородом. Хотя и непонятно, зачем заменять сам собой растущий лес искусственными агрегатами, но кто их знает, потомков? Может, у них будут какие-нибудь высшие соображения.

Но нам рассчитывать на блага «киберэпохи» не приходится. Вот почему такой широкий отклик каждый раз получают протесты против загрязнения воздуха и воды, уничтожения живой природы.

«Человеку предшествуют леса, его сопровождают пустыни», — говорил в свое время Александр Гумбольдт. Перед ним был опыт почти оголившихся стран Западной Европы.

В России испокон леса были нехожены и немерены. И хотя уже в прошлом веке степи начали быстро продвигаться на север, и хотя многие ученые с беспокойством предупреждали об этой опасности, Россия еще долго оставалась под ворожкой своих бесконечных былинных лесов.

Сто лет назад путешествовавший по этим местам И. Эремич писал: «Что касается взглядов тех политико-экономов, которые,

не выходя из своего петербургского кабинета, оплакивают истребление не виданных ими лесов, вопли их всегда казались мне, как полещуку, довольно забавными. Лес можно истребить там только, где его немного. Но истребить леса полесские, да это почти то же, что выпить Днепр. Можно ли истребить то, чего даже не знаешь?..»

Теперь нам это не показалось бы забавным...

Человечество всерьез забеспокоилось о лесах, когда пришло сознание, что без них не обойтись и что природа не в силах восполнить возрастающие лесные убытки. И тогда люди все более смело начали брать на себя эту функцию природы. Лесопосадками занялись повсюду. И активнее всего в социалистических странах. Рекордсменом в этом великом деле облагораживания планеты стала страна, которой, на первый взгляд, это меньше всего надо, — наш Советский Союз. В юбилейном 1967 году в стране было высажено 1200 тысяч гектаров леса.

Похоже, что человечество начинает понимать: жить не по средствам — значит вконец разориться. Есть основания надеяться, что кризис не перерастет в катастрофу. И век дерева, начавшийся еще раньше каменного, переживший эпоху бронзы и железа, не кончится и в наш век искусственных материалов...

Утром солнца высветило березки, зажгло росинки на мохнатом ольшанике, подняло тихий парок с мокрых мостков. Комары то ли еще не проснулись, то ли утонули в росе, залившей траву. Над осоками в молочной дали скользили утки. Матово сверкала озерная гладь, дымилась чистым туманом.

В одних трусах я бегал по мосткам, ухая досками. Воздух казался густым, газированным, как нарзан. Махал руками, будто плыл сквозь влажные покальвания утреннего холода, сквозь теплые течения на залитых солнцем прогалинах. Было легко, как после купания, весело, словно в час безалкогольного туристского пикника, покойно, как при возвращении домой из дальнего путешествия.

Внезапно я увидел змею. Она была совершенно неподвижна и походила на кривой сучочек. Если бы не аккуратные желтые пятна на голове, ни за что бы не догадаться, что это уж, собственной персоной. То ли я неосторожно шевельнулся, то ли ужю надоело глядеть на меня, только он вдруг исчез. Был и пропал, как провалился.

Прыгать по мосткам сразу расхотелось. Я пошел к домику и на пороге увидел... серую кожу гадюки.

— Ночью скинула, — сказал егерь Курлович. Он поднял кожу, поглядел ее и кинул в кусты.

А через несколько минут принес живую гадюку, зажатую двумя палочками.

— Мы их сотнями ловим. Заколачиваем в посылки и отправляем во Фрунзе. Там у них яд берут.

И тут случилось новое событие. Из прибрежных тростников спокойноенько выплыла на чистую воду стая уток.

— Дикие? — изумился я.

— Есть и дикие, — ответил егерь. — Сейчас проверим.

Он прошел по зыбкой тропке, открыл дверь большой сетчатой клеткой, стоявшей у воды.

— Они в сетку кормиться заходят. И те, которые одомашнились, и те, что еще летать не разучились.

Скоро утки действительно потянулись к сетке, безбоязненно зашли внутрь. Курлович взял большой сачок, тоже вошел в сеть и закрыл за собой дверь. Через минуту он держал в руках бьющуюся утку.

— Вот она, дикарка.

Ножом егерь подрезал несколько перьев и подбросил утку высоко в воздух. Она рванулась ввысь, зачастила крыльями, но едва дотянула до чистой воды. Плюхнулась, покрякала удивленно, а потом смиренно поплыла в тростники к своим ожиревшим подружкам, что никогда уже не взлетали, а лишь время от времени гасили жгучий инстинкт полета короткими пробежками да отчаянным хлопаньем крыльями по воде.

В тот день на буксире меня перебросили через Выгоновское озеро. На другом берегу стояла деревянная вышка и домик возле. От них безупречно прямой линией уходил канал. Я поблагодарил гостеприимных лесников-егерей и на одном кормовике поплыл по каналу.

Полна странностей человеческая память. Она, случается, растягивает до бесконечности короткие минуты, а иногда превращает в один светлый миг казавшуюся бесконечной радость. Вроде той, что не оставляла меня, пока под солнцем и легким полуденным ветром я скользил в космической тишине этих «белорусских джунглей».

Через пару часов канал уперся в село Выгонощи и сразу превратился в канаву, недоступную даже плоскодонке.

— Далеко ли он мелководный? — спросил у парня, стоявшего на берегу.

— До самой Ясельды, — ответил он. — Хотя, может, где и поплывешь.

Пришлось оставить лодку под присмотром бабуси, жившей в домике у канала, и налегке отправиться в разведку, чтобы доподлинно выяснить, какой предстоит волок.

Километр за километром шел вдоль неверной водной ниточки, то разливавшейся в небольшие пруды, затянутые ряской, то пересыхавшей до размеров сырого придорожного кювета. Лягушки

сыпались в воду, как горох из горсти. Какие-то пичуги смело пронзали густую листву, словно она для них и не существовала. Комары рыжим роем набрасывались в каждом тенистом и тихом месте тропы. Из-за них отдыхать приходилось на солнцепеке, сидя на серых бетонных монолитах бывших немецких дотов (в первую мировую войну вдоль Огинского канала стоял фронт).

Часа через три добрался до Телехан — большого поселка городского типа, того самого, где делаются знаменитые на всю страну телеханские лыжи. Лыжи эти отличаются легкостью, прочностью, гибкостью, то есть как раз тем, что больше всего ценится спортсменами. Недаром, как я узнал в первый же час пребывания в Телеханах, лыжная фабрика завалена письмами от мастеров спорта с персональными заказами.

Телеханы называются так от слов «тело хана», который будто бы закопан поблизости в лесу, где и поныне курган Лысая гора, поросший сосняком. До 1939 года Телеханы были небольшим поселком, заброшенным в бездорожье. Сохранились статистические данные, сравнение которых с современностью ясно показывает перемены, происшедшие в жизни телеханцев за 30 лет. До 1939 года в поселке был один велосипед, один мотоцикл и одна машина — собственность местного пана. Сейчас у колхозников 150 мотоциклов, 100 телевизоров, а велосипедам и учета нет. Да еще в колхозе больше 60 автомашин. Прежде была одна частная больница на девять коек, а теперь в местной больнице только врачей десять человек. Прежде добраться до Телехан было «мукой смертной», а ныне проложены асфальтовые шоссе на районный центр Ивацевичи и на Пинск.

Самая большая в Телеханах организация — колхоз «Россия». Я разыскал председателя колхоза Владимира Константиновича Яскевича и записал его рассказ об этом полесском хозяйстве.

Специализация колхоза мясо-молочная. Выращиваются зерновые, сахарная свекла, картофель. Площадь всех угодий — 5600 гектаров. Почти половину их составляли непроходимые болота, и еще недавно, отправляясь на косьбу, колхозники подвязывали к ногам доски, чтобы не провалиться в трясину. К 1964 году мелиораторы окончательно расправились с болотами, и теперь по бывшим топям ходят машины. Если, конечно, нет дождей. А денек полет — три дня приходится ждать, пока подсохнет: мокрые торфяники — что масло. В сущь другая беда: подует ветер — прямо буран, буря в пустыне, только не песчаная, а торфяная, бросит кто окурки — того и гляди землю подожжет. Машины в эту пору ходят с искроуловителями.

Торфяники очень плодородны. Если дать им минеральные удобрения. Их еще маловато, но не как прежде. Бывало, Яскевичу самому приходилось ездить на Урал, выколачивать лишний ва-



гон удобрений. Теперь Солигорск под боком. Природа словно знала, что здешние торфяники будут распахиваться, — рядом и удобрения припасла.

Колхоз «Россия» — миллионер, развивается он стремительно. Поголовье коров, например, по сравнению с 1950 годом увеличилось в колхозе в одиннадцать раз...

Неподалеку от колхозной конторы я снова вышел к Огинскому каналу, огороженному перенгами старых берез. У мостика бабахнулись ребятишки, им тут было по колено.

Я сел на берегу отдохнуть, прислонился к наклоненной корявой березе и задумался о белорусском парадоксе — маловодности. Еще со школы мне было точно известно: чего-чего, а воды в Белоруссии довольно. Но вот помучился на мелководьях, поглядел на песчаные горы, едва прикрытые серой травой, и начал менять свои школьные воззрения.

В Белоруссии нет пресноводных «морей» или больших рек. Лишь мелкие речушки медленно ползут по плоским равнинам, целиком зависимые от осадков. Гидростроителям здесь не разгуляться. Привыкшие к гигантским стройкам, они смотрят на эти места как на самые безнадежные. Есть такое понятие — гидроэнергетический модуль. Для Таджикистана, например, он составляет 188 киловатт на квадратный километр, в среднем для Советского Союза — 19, а для Белоруссии — всего лишь 4,1. Если зарегулировать все реки республики, то и тогда удастся выжать из них электроэнергии не больше, чем дает один Днепрогэс. Казалось бы, бог с ней, с гидроэнергетикой: в Белоруссии много торфа, найдена нефть, и нужное количество электроэнергии могут дать ГРЭС. Но ведь это значит, что здесь нельзя создать крупные водохранилища. А без больших запасов воды нынешнему народному хозяйству никак не обойтись...

Вот тогда-то у телеханского мостика я и потерял веру в Огинский канал. И решился на прыжок. На другой день подрядил попутный грузовик, съездил в Выгонощи за лодкой и махнул вдоль канала по отличному шоссе на скорости, о которой успел забыть за дни «мелководной Одиссеи».

### КОНЕЦ «ПЯТОЙ СТИХИИ»

— Приехали! — сказал шофер. — Вот и Ясельда.

Под мостом темнела речка, такая же, как Щара, только, похоже, еще медлительнее. Меж лугов, уставленных стогами, она убегала к ровному горизонту, звала в новые дали.

Шофер подкатил машину к берегу, общими усилиями мы спихнули лодку в воду — оказалось, для того только, чтобы полю-

боваться, как она тонет. Дорога повытрясла из щелей всю шпаклевку, а камень, невесть каким образом оказавшийся в кузове, промял в днище изрядную дырку.

Пришлось оставить лодку на берегу и добираться до Пинска той же машиной.

Через какой-нибудь час я уже шагал по знакомой набережной Пинска. Парни гуляли с девушками под старыми липами. Солнце рисовало на асфальте частые, как ступени лестницы, тени от ограды, за которой блестела вода.

Пинск показался мне ничуть не изменившимся за эти годы, только, может, прибавилось лодок у каменной стенки, да деревья стали тенистее, да новые крыши появились над густыми тополями.

Не задерживаясь, я отправился напрямик в ту организацию, с которой началось все это мое путешествие, — «Главполесьеводстрой».

Та же синяя вывеска была у высоких дверей, та же лестница вела на второй этаж. На том месте, где два года назад мы беседовали с мелиоратором Самусевичем, теперь топорщил широкие листья большой цветок.

— Как найти Самусевича? — спросил я у начальника «Главполесьеводстрой» Василия Васильевича Ермоленко.

— А кто он?

— Не знаю. У вас работает.

— Самусевичей в Белоруссии — все равно что в России Ивановых. Ну ничего, — утешил он, — может, найдем. Вы ведь не на один день?

— Хотел бы поглядеть, как вам удается справляться с «пятой стихией».

— Удастся, — заверил Ермоленко. — С помощью техники, конечно. Вот поглядите.

Он подал мне листок, усыпанный цифрами.

«Экскаваторов, бульдозеров, скреперов — 1277.

Автомобилей разных — 1400.

Тракторов, корчевателей, кусторезов, канавокопателей и прочих спецмашин — 1107...»

Было ясно: перед такой армадой машин «пятая стихия» не устоит.

Ермоленко привычным жестом раскинул на столе карту и начал рассказывать о главных направлениях этого массивированного наступления на болота, о сотнях тысяч осушаемых, осваиваемых и уже обжитых гектаров.

Мне захотелось самому увидеть мелиоративные машины на мокрых лугах, и болотную жижу, развороченную экскаваторами, и людей, что так запросто выполняют работу, сравнимую с деяниями сказочных героев.

Из списка предложенных мне строительных участков я выбрал один, с примечательным названием Моховичи. Впрочем, в Белоруссии что ни название, то экзотика. Кто-то подсчитал, что на территории республики всяких Гатей, Мокрецов, Дубков, Березовок, Перезовов, Прудичц, Подлипок, Ольховок, Заболотьев, Замошьев и иных селений с похожими названиями — 1350...

Дорога на Моховичи быстро сбежала с асфальта, попылила немного в сосновом мелколесье и пошла петлять меж березовых колков по густой траве верховых болотин. Видно было, что каждая машина выбирала себе новую колею, и получилась от этого не просто дорога — прямо мотодром.

Среди болотного однообразия за невысоким заборчиком стояло несколько легких домиков. И склад был, и столовая, и буфет, где бойкая молодуха торговала отличным бочковым пивом. А рядом с этим миниатюрным поселочком на искромсанной гусеницами земле дремала дюжина тракторов, серо-черных от жары и мазута.

На крыльцо вышел загорелый человек, широко заулыбался.

— А, старый знакомый!

— Самусевич?

— Он самый. Главный инженер этого участка... А ты все же поехал? Ну, молодец! Я говорил: журналисты легки на подъем.

После обеда Самусевич выдал мне резиновые сапоги, и мы пошли с ним по высокой остролистой траве. В стороне тарахтели тракторы, огромными плугами переворачивали полуметровые слои жирной земли. Из кустарников слышался надсадный рык. Там тракторы, нагнув рогатые кусторезы, толкали перед собой несоразмерно большие валы кустов и земли. В одном месте мы увидели экскаватор, боком осевший в мягкую землю. Три трактора сердито ворчали по соседству. Глубокая траншея с блестящим оглаженным дном, тянувшаяся за экскаватором, говорила о том, что болото еще не сдалось, не уступило даже объединенной мощи машин...

Мы шагали все дальше через однообразно-ровные заросшие болота. Затянутое дымкой небо потемнело и заморосило меленьким дождем. Духота парной бани обволакивала землю, заползала за пазуху, мешала дышать.

— Большое же болото!

— Восемь тысяч гектаров осушаем, — сказал Самусевич. — Тут будет совхоз. Это еще средненький участок.

Передохнули возле экскаватора, размахивавшего своей длинной рукой. За ним тянулся канал с коричневыми стенками, очень напоминавшими слежавшийся навоз. Ковш смачно чмокал, отрывая очередные четверть кубометра сырого грунта, плюхал землю на край канала. Затем экскаватор чуть пятился и снова кидал

ковш в коричневое желе дна. Было что-то успокаивающее в этой ритмичности. И хотя каждый следующий взмах ничуть не отличался от предыдущего, мы долго смотрели на эту четкую работу. Как иногда смотрим, ни о чем не думая, на равномерный ход маятника.

— Это еще что! — сказал Самусевич. — Есть настоящие машины!

И снова мы шли по болоту, потом вдоль канала, прямого, как выверенная линейка. Наконец увидели вдаль ни на что не похожее чудище. Точно какой «неведомозавр» вылез из болотных трясин, расправил черные крылья и зарычал на всю округу:

— Вот она, новинка. 150 метров канала в час, два метра в глубину, восемь поверху. Идет, как плывет, и валов не оставляет, ибо разбрасывает землю. Выполняет работу пяти экскаваторов и двух бульдозеров...

Машина и вблизи производила впечатление. Высоченный трактор на широких гусеницах держал сзади огромные, в три человеческих роста, зубатые диски, расположенные под углом один к другому. Раскрутившись, диски врезались в грунт, и тогда за трактором поднимались два изящных земляных веера. И оставался канал с ровными оглаженными стенками.

Машинист-тракторист охотно показал все, на что способен его «чудо-агрегат». А потом спрыгнул на землю и достал из травы четырех карасей, трех окуньков и небольшую щучку.

— Это вам сувенир.

— Откуда здесь рыба?

— А в канавках. В половодье заходит.

Он показал на совершенно заросшую канаву, где воды было по щиколотку и где, мне казалось, даже лягушкам тошно.

Вечером я ушел по пыльной дороге в темень леса. Хотелось побыть одному, поразмыслить об увиденном. Низкое небо слабо светилось. Песок дороги был мягок, как перина. Я прислонился к тонкой березке и стал слушать.

Казалось, время изменило себе, потянулось ленивой патокой. Тишина заложила уши. Кроны сосен выделялись на фоне неба черными истуканами. Они медленно шевелились. Наклонялись и выпрямлялись в жуткой крошечной тишине, словно кланяясь неведомому болотному богу.

...Болота вы, болотины, осоки да трясины! Бросовые места! Края глухих в прошлом названий — Бесхлебичи, Паршевичи, Погорельцы, Язвы, Огрызки, Воничи, Грязиевки. Правда, находились «краеведы», которым и до революции «встречались пастухи в городских костюмах и с зонтиками». Но большинство побывавших на болотах видели жизнь такой, как она есть, как видел ее Янка Купала, написавший свою «Жалейку», ту самую книжку, за ко-

торуЮ Петербургский комитет по делам печати потребовал привлечь автора к суду.

Болота вы, болотины! Случалось, спасали вы мужицкую волю. Но не давали счастья. Только извечная тоска сказок рождалась в глухих деревушках под комариный зуд, под шорох хвощей да лягушечий гвалт.

«До гор болото, воздух заражая, стоит, весь труд испортить угрожая,— вспоминал я последний монолог Фауста.— Прочь отвести гнилой воды застой— вот высший и последний подвиг мой!..»

Где-то в темноте настойчиво, призывно кричал автомобильный гудок. Я оттолкнулся от упругой березки и ступил в песчаную мякоть невидимой дороги. Глухой, давящей тишины уже не было. Ветер по-знакомому шумел в сосновых вершинах.

«...Я край создам обширный, новый, и пусть миллионы здесь людей живут, всю жизнь в виду опасности суровой, надеясь лишь на свой свободный труд...»

В тот вечер мне твердо верилось: нет такой сказки, которой не суждено когда-нибудь стать реальностью. И теневые стороны, непременные для всего земного, не остужали мои «мелиоративные восторги».

О «теневого сторон» мелиорации я узнал на другой день из разговора с одним пожилым капитаном-речником.

— Для чего, по-вашему, реки? — спросил капитан.

— Какие?

— Всякие. Для чего они?

— Ну, мало ли...

— Реки — это дороги, — веско сказал он. — Недаром большинство городов — по берегам.

— Но при чем здесь болота?

— А при том. Болота питают реки. Больше тут неоткуда взяться воде. Осушат болота — реки пересохнут, и сидеть нам на мели.

Мне показалось, что это ведомственный подход, что если для капитанов реки — только дороги, то для рыбаков — места, где можно забрасывать сети, для ирригаторов — источник водоснабжения, для мелиораторов — водосбросы, а для железнодорожников, наверное, лишние преграды.

— Надо, чтобы всем было хорошо, — сказал капитан.

— Всем угодить нельзя. Всем угождать — значит ничего не делать.

— Нельзя, чтобы одно развивалось за счет другого. Это самообман, одна видимость.

Но я уже не слушал, начал говорить о величии человека, ставшего вровень со стихиями, о его деяниях, сравнимых с планетар-

ными процессами, о новых проблемах, которые сопровождают всякое новое дело.

— ...Мы верим в прогресс потому, что каждый следующий шаг открывает другие дали. Как в стихах о горизонте: «Шагну вперед — и отступаешь ты, не выдаешь своей последней тайны». Сколько бы ни было открытий, загадок не убавится. А мы нередко пугаемся новых загадок и машем руками: не надо, мол, открытий...

Я не верю в «манну небесную», убежден, что человеку до всего придется доходить самому: осваивать космос, обживать моря, обводнять пустыни, осушать болота. При этом многое придется делать ощупью, ошибаться и исправлять ошибки. Ибо нельзя знать заранее камень, о который споткнешься...

Но и сомнение, зароненное словами капитана, не умирало. Потому что тогда еще не было у меня ответа на этот вопрос. Действительно, откуда в Белоруссии взяться воде, если исчезнут болота?

## НА ПРИПЯТИ

В течение всей истории Припять была единственной магистралью Полесья. К ее крутым поворотам сходились пути купцов. По ее низким берегам проходили дымные волны нашествий и тонули в болотистых далях, в упрямой неуступчивости полещуков. И снова стучали топоры, поднимались свежие смолистые стены городов, вскидывались белые паруса над черными бортами челнов — купеческих и рыбацких. Людям некуда было податься с Припяти — единственной транспортной ниточки среди бездорожья бескрайних болот.

Но эта ниточка обрывалась за Пинском. В 1755 году началось строительство Днепровско-Бугского канала. Затем вступил в строй Огинский канал, соединивший бассейны Немана и Днепра. Каналы были мелкие и неустроенные, пропускали небольшие суда лишь в половодье. Но они сыграли немалую роль в развитии этого бездорожного края. Недаром даже в наше советское время старые каналы привлекли внимание строителей. В 1940 году была закончена реконструкция Днепровско-Бугского канала. То же самое собирались сделать с Огинским каналом, но помешала война.

Сейчас Припять не единственная транспортная магистраль. Вдоль реки идет железная дорога и отличное шоссе. Недавно здесь появилась и четвертая транспортная нитка — трубопровод «Дружба». Но и водная трасса, протянувшаяся через всю Белоруссию от Днепра до Бреста, продолжает играть свою немаловажную роль. По Припяти, по 194-километровому Днепровско-Буг-

скому каналу непрерывно идут 600-тонные баржи с рудой, углем, лесом.

У этой водной дороги есть и будущее. Несомненно, что когда-нибудь будет расчищен и реконструирован 200-километровый участок Буга, отделяющий сейчас Припять от Вислы. И тогда водные пути Советского Союза соединятся с системой каналов Западной Европы. Суда смогут ходить от Киева до Парижа...

Хотел бы я когда-нибудь проплыть этим путем. Думается, что даже если не найдется прямой хозяйственной необходимости реконструировать Буг, то это будет сделано ради одних только туристских круизов через Европу...

И тогда превратится Пинск в один из центров международного туризма. Ибо столице Полесья есть что показать, и старого, и нового. Здесь уникальные музейные собрания. Здесь зеленые улицы, похожие на бульвары, крутые крыши старинных домов и высокий шпиль францисканского костела XIV века. Здесь стоят на пьедесталах легендарный бронекатер Днепровской флотилии и старый колесный трактор, тоже оваянный легендами. Здесь людные базары, тихие парки, уютные набережные. А на окраинах города шумит современная индустрия — заводы искусственных кож и литейно-механический, фанерно-спичечный комбинат и мебельная фабрика. В дальних просветах улиц, куда особенно часто спешат автобусы, маячат строительные краны над большой новостройкой — одним из крупнейших в стране комбинатов верхнего трикотажа.

И стучат моторки на блескучей Пине, качают волной крикливых мальчишек, купающихся, как обычно, там, где купаться не разрешается, — у бетонного склона набережной...

Выехать из Пинска по воде было не просто: пассажирский транспорт вниз по Припяти не ходил. Выручил главный инженер местного речного техучастка Михаил Ефимович Силов, невысокий, седовласый, не по годам подвижный человек. Узнав о моей привязанности к рекам, он пригласил меня в свой маленький катер на подводных крыльях.

— Вообще-то мы в Нырчу, — сказал он. — Но так и быть, подбросим до Турова. А там сядете на «Ракету»...

Намаявшись на мелководьях Немана, на перекатах Щары, на безводье Огинского канала, я радовался вновь обретенной скорости, как шофер, вырвавшийся из тесноты городских улиц на магистральное шоссе. Катер взял с места, как спринтер со старта. Вмиг пропали за кормой и набережная, и окраины Пинска. Потянулись монотонные низкие берега в зарослях ивы и камыша. Потом неожиданно, как в кино при резкой смене кадров, замельтешили пески, исполосованные ветряным свеем. Голые пески, как в пустыне, кое-где прижатые редкой щеткой молодого сосняка.

Прошли два небольших шлюза, поддерживающих глубины на 50-километровом участке от Пинска до деревни Стахово. Дальше началась «дикая», неустроенная Припять. Но здесь она была уже достаточно широка и глубока.

Нырча оказалась не городом и не деревней — просто парой домиков под разлапистыми тополями, последним постом Днепровско-Бугского техучастка. За Нырчей открылось устье Горыни. Ее серая вода долго, не перемешиваясь, текла бок о бок с коричневой торфяной водой Припяти.

В Горынь направлялись четыре моторки давидгородковцев, напоминавшие амфибии: поверх наваленного горой сена и хвороста торчали колеса велосипедов. Прежде мне приходилось бывать в Давид-Городке, и я знал, что он ничем особенно не отличается от других районных городков этих мест. Такие же тихие улицы, Замковая гора с толстенными липами понизу, высокий мост над живописной Горынью и множество лодок на темной воде. Лодки — общее увлечение давидгородковцев. С этой страстью горожан соперничает разве только цветоводство.

Издавна здешнее население подметило, что на местных плодородных почвах в теплом и влажном климате Полесья с его недолгими и мягкими зимами отлично растут цветы. Казалось бы, бабловодство! Но оно приносит людям немалые доходы. Спрос на семена цветов, выращенных в Давид-Городке, велик и по сей день.

В 1967 году колхоз имени 17 Сентября тоже попытал счастья в цветоводстве. Первая же большая партия тюльпанов, астр, петуний, гвоздик, отправленная в Минск, разошлась там с фантастической быстротой. После этого цветоводством заинтересовались и другие колхозы. Теперь появилась надежда, что под этим всегда теплым небом может возникнуть главный цветник страны и полесские букеты будут радовать не только минчан, но и москвичей, ленинградцев, мурманчан...

Потом наш теплоходик проскочил устье Случи, забитой сплавным лесом, той самой речки, на которой стоит знаменитый Солигорск с его богатейшими в мире месторождениями калийных солей, и вскоре на правом берегу показались крыши Турова.

Туров — самый древний город на Припяти: первое упоминание о нем в Ипатьевской летописи относится к 980 году. Он рождался как важный пункт на торговых путях. Но история уготовила ему иную судьбу. Многократно разоряемый нашествиями, город почти не рос. Последний страшный разор Туров пережил в минувшую войну.

Сейчас Туров — небольшой тихий городок. По древней Замко-



вой горе бродят козы. Изредка по улице пробежит автобус или грузовик, и снова тишина ложится на одноэтажные домики, на сады и скверы. Ну прямо этакое курортное местечко, еще не открытое толпами туристов и отпускников. За домами, у песчаных отмелей, лежит река, вдали постукивает землесос, расчищая русло Припяти, тархтят моторки, проносятся белые «Ракеты». За лугами, окружившими город, стоят знаменитые на всю Белоруссию чистые широколиственные леса с их великанами дубами, кленами, грабами. Отсюда древесина отправляется на наиболее важные стройки.

Эти леса поддерживают славу города. Туров был столицей тысячи лет назад. Но он и теперь в некотором роде столица — центр одного из крупнейших в Белоруссии леспромхозов.

Сосед Турова — город Петриков. Возле него больше толчея судов, глубже затоны, откуда доносится шум судоремонтных мастерских. Дома в Петрикове похожи на терема: лестницы на второй этаж у многих не внутри здания, а снаружи, обвивают стены этакими кривыми балконами, напоминающими не то декорации к комедиям Лопе де Вега, не то иллюстрации к «Сказке о царе Салтане». Есть в Петрикове и асфальтовые дороги, и широкие тротуары. Но на окраинах, где твердые дороги кончаются, лежит все тот же надоевший на Полесье мягкий, как вата, песок.

Город спадает к реке красивыми зелеными склонами. Овраги разрезают эти склоны, образуя крутобокие бугры. На вершине одного из них стоит памятник деду Талашу, старейшему нашему партизану. Тому самому, что встречал свой сотый день рождения в тревожных шорохах партизанского леса. Чуть склонив голову, бронзовый дед Талаш искоса глядит с пьедестала на далекие заприпятские луга.

Говорят, он настаивал, чтобы его изваяли на коне и с пашкой. Но у скульптора достало чувства меры увековечить правду. Жизнь-то ведь никогда не выбирает поз, ее величие в обыденности. Как и народной войны, что измучила и прославила Беларусь.

Много написано книг о лихих партизанских налетах, хитрых засадах, песенных вечерах у лесных костров. Но я по-настоящему начал понимать, что такое народная война, когда в музеях Минска увидел танковые пушки на колесах от телег и конных сенокосилок, автоматы, выкованные в лесных кузнях, деревянные мины, начиненные толлом, выплавленным из невзорвавшихся бомб, множество бытовых, до ужаса примитивных самоделок.

Конечно, самоделки не обуславливали партизанских побед. В тех же музеях экспонируется немало автоматов, минометов и пушек, полученных или захваченных партизанами. Но не они главный штрих образа. Именно самоделки будят воображение, по-

могают почувствовать всю неистовость этой народной, трижды священной войны. И по-новому понять цифры, что крупно выделяются на музейных стендах: за три года белорусские партизаны уничтожили десятки тысяч вражеских автомашин, танков и самолетов, взорвали свыше пяти тысяч мостов, пустили под откос больше одиннадцати тысяч эшелонов, вывели из строя полмиллиона гитлеровцев — больше, чем американская и английская регулярные армии, вместе взятые...

Вершиной стойкости народного духа в борьбе с врагами было самопожертвование. Русские, белорусские, украинские мужики, даже мальчишки, не раз повторяли в эту войну подвиг Сусанина. И здесь, на Полесье, случилось такое. В селе Новина 15 февраля 1943 года каратели застрелили крестьянина Михаила Цубу за отказ показать дорогу в партизанский лагерь. Тогда это вызвался сделать его брат, Иван Цуба. И он повел фашистов в болотистые лабиринты извилистой речушки Лани, через которые даже зимой не было прохода.

Когда наступил вечер, старик тяжело опустился в снег, сказал фашистам:

— Дальше идти некуда. Здесь вы и подохнете...

Нет, я бы не смог принять деда Талаша в образе эдакого рыцаря на коне и с пашкой. Рыцарство — атрибут тех, чье дело война. Мужиковатая простота, гражданственность свойственны мирным людям, воюющим в силу необходимости и потому не признающим воинских церемоний и условностей. Пусть он остается мирным, старый партизан дед Талаш, пусть хитровато, по-мужицки смотрит на серые дымки петриковской окраины, на светлые дали своего Полесья. В таком образе — сама непобедимость. Потому что это образ народа...

Вечернее солнце высветило церковные купола на соседнем бугре. Неподалеку, возле Дома культуры, собирались разговорчивые петриковцы, глядели на памятник деду Талашу, на косогоры, исполосованные угловатыми заборами. Там, вдали, над кипенью садов, светлела река. И полз по ней одинокий дымок буксира, то прячась за крыши домов, то выплывая на открытое место.

И я пошел туда. Пошел просто так, без определенного намерения, без цели, как всегда ходят люди к радужному расплаву вечерних рек.

Возле дебаркадера дремал у отмели небольшой теплоходик с надписью «Путевой-2». Через минуту я уже знал, что на нем плыл по своим служебным делам прораб Мозырского техучастка Василий Максимович Курбан. А еще через десять минут перебрался на судно, достаточно свободное, чтобы принять одного не слишком требовательного путешественника.

## У ВЫСОТ МОЗЫРСКИХ

«В государстве ромашек, у края, где ручей, задыхаясь, поет, пролежал бы всю ночь до утра я, запрокинув лицо в небо-свод...»

Не было ромашек возле, и ни ручья, ни ночи. По голубой реке неба ползли белые паруса облаков, задевали за растопыренные пальцы кленовых листьев. Внизу была другая голубизна — Припять, тихая, почти неподвижная. Клен лениво шевелил ветками, отчего листья взблескивали отраженным солнцем в полном соответствии с этими переполнявшими меня стихами Заболоцкого.

«Жизнь потоком светящейся пыли все текла бы, текла сквозь листья...»

Бог мой, куда еще ехать дальше? Мне казалось, что я уже приехал в свой рай и больше спешить некуда. Остался бы тут, «посреди очарованных трав, все лежал бы и думал я думу беспредельных полей и дубрав»...

Томительно-песенные ощущения росли, как опара на хороших дрожжах. Но я знал: уже достигало в пути такое и не раз достигнет еще. Они, эти ощущения, приходят не к тем, кто живет ожиданием, а кто идет, ищет, устает. Они как приз у финиша, как аплодисменты у занавеса, как первые поцелуи на вокзале при возвращении из долгой поездки...

Ох уж этот опыт! Всегда-то он гасит песню!

Мы попали в этот парк не совсем по пути. Пришлось проплыть несколько вверх от Петрикова. Но Курбан, которому надо было в эти места по своим делам, заверил, что не пожалею. И я не пожалел: лучшего места на Припяти мне еще не попадалось. На высоком берегу не густо и не редко, а как подобает в хорошем парке, росли могучие клены, осокори, липы, тополя, кедры, сосны, посаженные в таком богатом сочетании каким-то знатоком ландшафтов. Полузаросшие дорожки и тропки красиво извивались на уютных полянах.

Этот старый парк у деревни Дорошевичи, посреди монотонности полесских равнин,— еще одно подтверждение, что человек, когда хочет, может сделать природу красивее и богаче.

И снова ползли за бортами низкие берега, то болотистые, в осоках, то желтые, песчаные.

— Запоминайте обстановку, пригодится на реках,— говорил Курбан, показывая на полосатые столбики, подобно новогодним елкам увешанные ромбиками, прямоугольниками, кружочками.— Ромб — ширина фарватера 50 метров, каждый черный прямоугольник гарантирует метровую глубину, а красные шары еще добавляют по 20 сантиметров... Мы тут все время глубины промеряем. А перекаты расчищаем землесосами. На Припяти много пе-

рекатов, чуть ли не на каждом километре. Она ведь в песчаном ложе течет...

Река все кружила, словно задавалась целью намотать побольше петель. Мы плыли да плыли, беседовали о делах и безделицах, подшучивали над двумя матросами, которые вместе с капитаном Гончаренко и составляли команду теплохода. Матросами были Вася и Надя Милун, молодожены, совершавшие свадебное путешествие без отрыва от производства. Василий был мотористом, а Надя выполняла обязанности кока — варила своему мужу, а заодно и всем нам отменные борщи и компоты...

А потом нас догнал легкий белый катер. Он притерся бортом к нашему медлительному суденышку. Необычно взволнованный Курбан подал кому-то руку, и на палубу взмошел невысокий худощавый человек. По тому, как он оглядел наш «Путевой», я понял: прибыл хозяин. Новым пассажиром оказался начальник Главного управления речного флота при Совете Министров БССР Иван Евграфович Геронин, говоря по-домашнему, здешний речной министр.

Едва дождавшись, когда закончится деловой разговор, я подступил к Геронину с вопросом, который мучил меня несколько дней: каковы взаимоотношения речников и мелиораторов?

— У них одно на уме — гектары, — резко сказал Геронин. — И в этом их ошибка.

Он начал объяснять. Издалека начал, с того времени, когда сразу после воссоединения Белоруссии республиканская Академия наук подготовила доклад о решении проблемы Полесья на основе комплексного использования водных и земельных ресурсов. Этот доклад так и не был никому доложен: началась война. В 1949 году был составлен новый доклад, а в 1954 году — подробная схема предстоящих работ. Предусматривалось не только осушение болот, но и создание воднотранспортных систем. Приять должна была стать главной дорогой и основным водоприемником. Предполагалось строительство 80 небольших гидроэлектростанций. Намечалась генеральная реконструкция Днепровско-Бугского и Днепровско-Неманского каналов. Это был грандиозный план, вполне соответствующий нашим тогдашним увлечениям масштабами.

А потом подсчитали — оказалось дороговато. И тогда от плана попросту была отброшена его транспортная половина. Правда, и оставшееся восхищает. Но только не речников. Они оказались в роли того дитяти, которому с пеленок прочили судьбу генерала. Каким бы хоршим солдатом он ни стал, на нем тяжелее амуниции будет висеть слава неудачника, обманувшего чьи-то надежды.

А к неудачникам отношение известное. Уж на что не щепетильна организация «Вторчермет», а и та начала игнорировать

речников, предпочитая железнодорожный транспорт. В 1965 году через порты Пхов и Гомель было вывезено на металлургические заводы юга 77 500 тонн металлолома, а два года спустя — всего 16 тысяч тонн.

Но может, и в самом деле сезонный и медлительный речной транспорт экономически невыгоден?

— ...Миллион тонн грузов в год суда доставляют с низовьев Днепра в Брест. Обрато баржи идут порожняком: встречные грузы перехватывает железная дорога. Почти миллион тонн угля доставляется в Пхов из Днепропетровска. Обрато суда идут пустые. Нечего везти? А тот же металлолом? А лес? Наконец, картофель для юга?.. Могли бы быть и другие грузы. Вот, например, — Геронин вынул официальный бланк. — Крымский содовый завод, что строится в Красноперекоске, просит сообщить, сможем ли мы обеспечить перевозку соли из Солигорска. Им надо 1 100 тысяч тонн в год. Вот и задача. У нас соль в отвалах, и не знаем, куда ее деть; у них она — сырье. Между пунктами полторы тысячи километров уже построенного глубоководного пути. И небольшой разрыв — всего сто километров несудоходной Случи. Если бы схема освоения Полесья предусматривала водотранспортные нужды, то теперь не пришлось бы наново ломать голову... Но главное даже не это. Болота ведь что? Аккумуляторы. Они держат осадки и в течение всего лета питают реки. А на осушаемых землях вода быстро стекает по дренажным каналам. Паводки становятся высокими и стремительными, а в межень воды не хватает. По плану мелиораторы одновременно с осушением болот должны строить водохранилища, чтобы удерживать воду. Но гектары они дают, а с водохранилищами не торопятся... Чем это может кончиться?!

— Только тем, что водохранилища все же построят.

— Да уж конечно. Иного выхода нет. Иначе, как бы не пришлось строить оросительные системы...

Был уже вечер. Впереди над потемневшим горизонтом разгорались звезды. А под ними на невиданных от самого Гродно кручах правого берега вспыхивали россыпи огней. Это был Мозырь...

Позавидуешь мозырянам. Им не надо, как москвичам, тратить часы, чтобы выбраться «на природу». Свернул в переулоч — и уперся в зеленый склон, поросший старыми березами; прошел вдоль склона — и попал в тенистый лесной овраг с мягкими полянами. А если захотел подставить лицо всем ветрам, забирайся на гору и смотри, пока не закружится голова. Недаром Мозырь зовут «белорусской Швейцарией».

На другой день я вдоль и поперек исходил всю центральную часть города. Вернее, больше вдоль, чем поперек. Ибо нелегко было переходить по прямой с улицы на улицу через холмы в

десятки метров высоты. Но потом все же взобрался на гору. И попал на такое место, что сразу поверил в точность одного старого толкования названия города — от слова «зреть», «обозревать».

С высот Мозырских открывалась широкая панорама. Автомобильный мост перешагивал через светлую Припять. Дорога уходила к синему горизонту, к тому месту, где темнели Калинковичи — город, райцентр, железнодорожный узел. Слева, за крутой излучиной реки, где по горизонту тянулась решетка железнодорожного моста, виднелись краны Пхова — крупнейшего перевалочного порта Белоруссии. По Припяти ползли караваны барж. По мосту бежали грузовики и автобусы, урча, карабкались к новым домам наверху.

Немногие города могут похвастаться такими горами. Авторы некоторых книг о Мозыре уверяют, что отсюда видно на сто верст. Архитекторы считают местный рельеф идеальным для градостроительного творчества.

Прошлое Мозыря опалено бедами. За восемь веков его существования много раз вставали над ним дымы пожарищ. Никогда прежде не был он стольным городом, как Туров, перекрестком транспортных путей, как Пинск, или промышленным центром, как Гродно. Первая спичечная фабрика была построена здесь в самом конце прошлого века, когда, например, в Гродно работало уже 74 промышленных предприятия.

Теперь Мозырь словно бы наверстывает упущенное. Вместе с соседними Калинковичами и Пховом он стал узлом автомобильных, железнодорожных и водных путей. Несколько лет назад здесь возник еще и перекресток трансконтинентального нефтепровода «Дружба». У Мозыря нефтяная магистраль разветвляется на две: одна ветка идет на Польшу и ГДР, другая — на Чехословакию и Венгрию.

Сейчас в городе работают крупные машиностроительные и деревообрабатывающие предприятия. Но будущее Мозыря — нефтехимия: совсем недавно в недрах Полесья найдена большая нефть.

Прежде Белоруссия считалась безнадежно бедной минеральным сырьем. Первые надежды появились лишь перед Великой Отечественной войной. «У нас не было руды, цветных, черных и редких металлов, не было соли, каменного угля, не было нефти, — говорил известный белорусский геолог Розин. — Но все это должно у нас быть. Руду, соль, уголь, нефть надо «сделать», и они должны быть «сделаны».

Накануне войны в Белоруссии была пробурена первая скважина на километровую глубину. Она вскрыла каменную соль. Надежды начинали оправдываться. Сразу после войны геологи называли восточную часть Полесья как наиболее перспективную на нефть. В 1961 году в этом районе были заложены глубокие

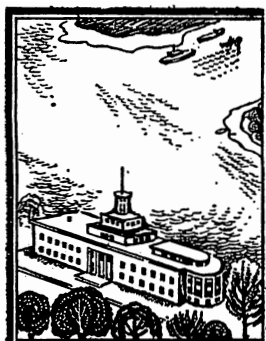
скважины. Уже во второй из них оказалась нефть. А шестая, седьмая и восьмая вскрыли богатую нефтяную залежь. В 1964 году республика получила промышленную нефть. В 1965 году белорусская нефть потекла уже по нефтепроводу «Дружба». Теперь возле Мозыря, хотя и на разумном отдалении от живописных надприпятских холмов, шумит стройка — сооружается крупнейший в Европе нефтехимический комплекс.

С каждым годом полнится река белорусской нефти. В 1970 году добыча ее превысила 4 миллиона тонн...

И еще одну достопримечательность отметил я, сидя на истертой садовой скамье, неведомо как оказавшейся над обрывом: высчитал, что Мозырь как раз на середине моего пути. До устья Днепра оставалось 1250 километров...

Внизу, у подножия холмов, лежала река, ослепленная вечерним солнцем, шевелилась водоворотами, спешила в сумеречную даль, к Днепру.

Туда, где Киев, мать городов русских...



## ЧАСТЬ III

*Светло-светлая и украсно-украшенная  
земля русская! Всего еси исполнена ты!..*

*Из летописей*

### В «ЗЛАТ-ГРАДЕ»

Это не я придумал такое название Киеву. «Золотым городом» его называли еще десять веков назад. Может, за золотые купола первого на Руси каменного храма — Десятинной церкви. Может, за ярмарочный коричнево-красный цвет Золотых ворот. Но вероятнее всего, за красоту.

Тысячу лет назад города были виднее. Когда перед путниками из прибрежных лесов выросло вдруг златоглавое диво, вознесенное на вершину холма, это не могло не восприниматься как сказка, как великая радость освобождения от страхов бесконечно долгого пути.

Теперь даже на водных дорогах редки неожиданности. Не успеет остаться позади один город, как впереди появляется другой. Иногда города сливаются окраинами и тянутся вдоль дорог одним бесконечным «мегалополисом», не оставляя путнику времени на «переваривание» впечатлений. Может, именно поэтому разные города так часто оставляют одинаковые впечатления.

Но этого не скажешь о столице Советской Украины. Киев остается оригинальным, надолго задерживающим внимание путешественника.

Много раз я бывал в Киеве. «Какой он?» — спрашивали у меня некоторые люди, требуя невозможного — краткой характеристики целого города. Но для Киева такая характеристика находилась. Пусть простят меня педантичные историки, но без всякого подделывания под витиеватое мышление летописцев я всегда отвечал:

— Киев? Он — золотой.

Золотым я его видел осенью, когда над золотом увядающих каштанов и тополей поднимались к серым тучам розовые дома Крещатика. И летом, и зимой, когда вечернее солнце золотило раскинувшиеся по горизонту новостройки Заднепровья...

Много раз я бывал в Киеве. Добирался сюда поездами, самолетами, автобусами. А вот по реке приплыл впервые. И понял:



кто хочет получить от Киева наиболее цельное впечатление, увидеть сразу прошлое и настоящее этого удивительного города, острее ощутить сказочный аромат минувшего и грядущего, тот должен хоть раз войти в него путем предков — по реке.

Синие горы Киева с лубочной Лаврой, с пунктиром фонарей на склонах гор, с розовыми стенами домов, несмотря на ожидание, для путешественника по реке появляются все же неожиданно. От силуэтов древнего города, обрамляющих высокие темные холмы, веет сказкой. Холмы приковывают внимание. Но когда потом оглядываешься, то на другом берегу видишь продолжение сказки в новом белом городе со светлыми кварталами широкооких домов, прямыми и стройными, как «петербургские проспекты», с каналами и мостами, напоминающими далекую Венецию.

О Киеве сколько ни говори — все мало. «Киев, — как сказал украинский писатель Иван Цюпа, — недостаточно просто увидеть — его надо прочесть сердцем». Киев — это древность и молодость, сталь мостов и нежность песен, седые камни старины и стекло новых домов, это город-парк, город-музей, город-труженик. Он третий в стране (после Москвы и Ленинграда) по числу жителей и один из первых — по красоте.

В Киеве я бывал всюду — в Верхнем городе, на Печерске и Подоле, в районах заднепровских и других новостроек. Любовался красивыми панорамами с крыши самой высокой в городе гостиницы «Москва». Ходил по гулким плитам парка Славы. Гулял по бульвару Шевченко, меж его стройных пирамидальных тополей. Бродил по аллеям ботанических садов, по косым дорожкам тенистых киевских гор, с удовольствием вспоминая сообщения прессы, что Киев по площади своих зеленых гор обогнал даже Париж с его знаменитыми бульварами, парками, лесами...

И всегда, в каждый свой приезд, я непременно шел на площадь Богдана Хмельницкого, к тому центру, «откуда есть пошла русская земля», — Софийскому собору, самому древнему сохранившемуся каменному храму Руси.

София, как эталон, чиста от наслоений угрюмых позднейших веков. Она не давит низкими переходами, не уничтожает человека кирпичной тяжестью. Здесь росписи не угнетают — радуют, не пугают, а учат. Здесь мозаика как праздник. Огромная Богоматерь, уцелевшая от дотатарских времен, кажется соразмерной человеку, доступной, а мозаичные апостолы рядом с ней выглядят простыми мужиками. Здесь на стенах можно увидеть сцены охоты, скоморошских затей, спортивных состязаний. И даже портреты. Не абстрактных святых, а реальных людей.

Сюда входили, наверное, не как в святилище, где личность

растворяется в идее, а как теперь ходят в клуб. И рассказывали разные земные истории о людях, изображенных на стенах.

Мне посчастливилось услышать эти истории.

Невысокий круглолицый человек с грустными глазами, похожими на глаза настенных апостолов, заведующий научным сектором Софийского заповедника Александр Дмитриевич Радченко, совсем не многозначительно, как бывает в музеях, а обыденно рассказывал:

— Первая на фреске — старшая дочка Ярослава Мудрого Елизавета. Ее посетило то, о чем мечтает любая женщина, — большая любовь. В 1031 году брат норвежского короля Гаральд Гардрода (Жестокий), прибывший с варяжской дружиной на службу к Ярославу, без ума влюбился в княжескую дочь. Он смело воевал, защищал киевскую землю от печенегов. И слагал песни о русской девушке.

В 1047 году Гаральд увез Елизавету в Норвегию. Там он вскоре стал королем, а русская княжна — норвежской королевой.

Вторая на фреске — дочь Ярослава Анна. В 1048 году она стала французской королевой, женой Генриха I. Двенадцать лет спустя, после его смерти, на французских официальных документах появились подписи: «Анна русская, королева французская». Так продолжалось четырнадцать лет, пока не подрос ее сын Филипп I, ставший очередным королем Франции.

И третья дочка Ярослава Мудрого — Анастасия — тоже уехала за границу, став женой венгерского короля Андрея I.

Вот только четвертой дочери Ярослава, тоже изображенной на Софийской фреске, не повезло: о ней мы ничего не знаем, даже имени.

До чего это грустно, когда не известно даже имя. Будто и не жил человек.

Не отсюда ли неосознанная боязнь бездонной пропасти времени, которая толкает людей на непонятное — царапать на камнях свои имена? Короли «расписывались» на монетах и памятниках, бедняки — на горшках, вылепленных ими. Казалось бы, что значат, например, слова «Митроша Коза» и «Помози господи рабу твоему Луке», надарапанные на 800-летних кирпичках Успенского собора в Каневе? Зачем было их писать? Но мы теперь благодарны авторам этих автографов. Древняя славянская вязь помогла преодолеть стену времени и как будто одушевила холодные кирпичи, согрела их теплом некогда живых человеческих рук.

Есть какая-то магия написанного. Мы говорим: написано пером — не вырубишь топором. Но и тысячи лет назад неизвестный древнеегипетский автор утверждал, что «написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех, кто повторяет имена писцов, чтобы на устах была истина... Книга нужнее построенного

дома, лучше гробниц на западе, лучше роскошного дворца, лучше памятника в храме...».

До чего же каждому из нас хочется оставить свой след! Иногда это принимает патологические формы, и тогда появляются Геростраты. Но чаще это строители и художники, стремящиеся создать нечто новое, единственное. Или ремесленники, возмечтавшие удивить мир мастерской поделкой. Или даже коллекционеры...

Эти древние «автографы» вызывают в нас трепет перед старинной, которой касались руки неведомых нам людей. Мы не знаем, какими были эти руки. Но через призму времени они кажутся нам сильными, добрыми, чистыми. Мы уважаем эти руки, любим их, дорожим ими. И в минуты национальных неурядиц ищем у них поддержки своим душевным силам. Это и есть патриотизм. Мечте о великом будущем нужен фундамент из великого прошлого. Именно поэтому, думается, гитлеровцы так яростно уничтожали наши памятники, нашу национальную гордость...

Вот так всегда София рождает во мне бурю мыслей о большом и важном.

И теперь я целый день провел в этом историко-национальном заповеднике. А потом по мягкому от жары асфальту прошел на Владимирскую горку. И залюбовался с ее высоты на панораму Заднепровья. В далеком мареве терялся горизонт. Над ним, над всей этой далью, над светлой лентой Днепра поднимал свой тяжелый крест бронзовый Владимир, тот самый, что тысячу лет назад окунул Русь в христианство. Возле памятника сидели пенсионеры, бегали дети, матери катали свои коляски. У ограды вплотную над обрывом стояли люди, глядели на синий Днепр, на бесчисленные кварталы домов, миражами раскинувшиеся по горизонту.

Киев! Сколько ни говори о нем — все мало. О Киеве написаны горы книг, ему посвящены тома стихов. Казалось бы, где уж найти что-то новое? Но каждый раз, приезжая в этот город, я открывал в нем новую, неожиданную сторону, по-своему даже сенсационную.

Вначале я знал Киев главным образом с его исторической стороны, как столицу древнерусского государства, как самый важный пункт на пути «из варяг в греки», как город, где был составлен первый общерусский свод законов — «Русская правда» и написана первая книга по истории Руси — «Повесть временных лет», как место, где сосредоточены уникальные музеи и памятники.

Но однажды услышал, как солидные ученые, не боясь несвойственных им возвышенных эпитетов, называют Киев «столицей электросварки».

Новый титул столице Украины принесли труды Героя Социалистического Труда академика Евгения Оскаровича Патона. Этот удивительный человек увлекся «пламенем рукотворных звезд» на шестидесятом году жизни. Было это в 1929 году. К тому времени Патон был уже признанным мостостроителем, пережившим даже триумф: в 1924 году весь Киев с оркестрами и флагами выходил на открытие моста через Днепр, построенного по его проекту.

Но он все же пошел на новое дело в качестве руководителя маленькой лаборатории, в которой работало всего шесть человек. Патон предвидел будущее электросварки, знал, что она сослужит большую службу делу индустриализации страны, делу первых пятилеток.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники его лаборатории, превратившейся к тому времени в институт, варили корпуса танков, а потом работали над восстановлением днепровских мостов, домен, заводов.

В начале 50-х годов прославленный ученый принял участие в строительстве еще одного моста через Днепр. Это было уникальное сооружение, непревзойденное творение отечественного мостостроения. Впервые в мировой практике мост длиной свыше полутора километров был построен методом электросварки. В ноябре 1953 года, в десятую годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, этот цельносварный автодорожный мост, связавший старый Киев с новостройками левобережья, был торжественно открыт для движения. Постановлением Советского правительства ему было присвоено имя академика Патона.

Сейчас институт электросварки имени Е. О. Патона — крупнейшее научно-исследовательское учреждение не только Киева, не только Украины — всей страны...

В следующий свой приезд в Киев я попал в другой научный центр, тоже прославивший город, — Украинский научно-исследовательский институт туберкулеза и грудной хирургии. Здесь работает ученица известного хирурга Н. М. Амосова доктор медицинских наук, профессор Лена Николаевна Сидаренко, та самая женщина-хирург, которую быстрые на эпитеты журналисты называли мировой рекордсменкой по операциям на сердце.

У Лены Николаевны интересная судьба. Она родилась в дни, когда отмечалась очередная, тринадцатая годовщина Ленских событий, что и определило ее необычное имя. Сотрудники санатория «Медсантруд», где родилась Лена, устроили ей торжественные — не крестины, нет, а, как тогда говорили, «октябрины». И в шутку составили «гороскоп», который предписывал ей всю жизнь относиться к профсоюзу «Медсантруд». Не ошиблись «добрые феи». Через двадцать пять лет Сидаренко окончила медицинский

институт, а еще через тринадцать лет стала доктором медицинских наук, профессором, прославленным хирургом. На ее счету почти тысяча операций на сердце. Ни одна женщина-хирург мира столько раз не касалась живых человеческих сердец...

И так каждый раз я находил в Киеве необычное. Однажды, например, узнал, что Киев становится металлургическим центром. Поехал в местечко Бровары и удостоверился, что действительно работает под Киевом металлургический завод, да не обычный, а такой, где металл получают по самой современной технологии — из металлического порошка. Детали, полученные из него прессованием, не требуют дополнительной обработки и в ряде случаев оказываются лучше и дешевле тех, что изготавливаются обычным способом.

А недавно, проходя по Крещатику, я увидел магазин «Синтетические алмазы». Зашел туда и узнал очередную сенсационную новость: что Киев становится центром алмазодобывающей промышленности. Здесь нет кимберлитовых трубок — алмазы получают из графита в бетонированных камерах Украинского научно-исследовательского института синтетических сверхтвердых материалов и инструментов.

Первая щепотка искусственной алмазной пыли была получена в 1961 году. Сейчас налажено массовое производство алмазов. Практически Киев может давать их сколько угодно. И уже работает магазин, который продает всем желающим алмазную пасту в тюбиках, мягкие латунные диски с алмазными кромками, способными резать даже корунд, зубоврачебные сверла с новыми свойствами и всякие другие инструменты. И конечно, сувениры — изящные изделия из самоцветов, вырезанные с помощью киевских алмазов...

Я не сомневался, что и на этот раз Киев удивит меня чем-нибудь особенным. Так и вышло. Незадолго до моего приезда Совет Министров УССР утвердил Генеральный план развития города на 1968—1980 годы, по которому Киев должен не только увеличиться, удвоив свой жилищный фонд, но и стать еще красивее. Центр его переместится к Днепру, и тогда Киев станет единственной в мире столицей, у которой в самом центре — огромная парковая зона площадью 800 гектаров. Над Днепром, над зелеными островами пройдет первая в стране монорельсовая дорога...

С Владимирской горки можно было спуститься на комфортабельном фуникулере. Я пошел вниз к набережной по крутым дорожкам, извивающимся над обрывами. В просветах между деревьями то и дело взлескивал Днепр с темными самоходками, груженными по самые борта. По светлой воде, словно жуки-плавунцы, бегали «Ракеты» и «Метеоры». Добежав до белых стен реч-

ного вокзала, они плюхались на животы, пускали пенную волну и замирали у бетонных стенок набережной.

Новый речной вокзал покачивал золотым корабликом-флюгером, установленным на высоком шпиле. Светлые окна глядели на многочисленные парходы и теплоходы, стоявшие у огромных причалов, раскинутых в обе стороны, как гостеприимные руки. Внутри вокзала по голубой керамике, изображавшей Днепр, через всю стену плыли белые паруса древнерусских челнов и суровые воины из-под тяжелых шлемов задумчиво глядели в окна на солнечное раздолье своего Днепра-Слаутича.

Мне тоже захотелось туда, на речной простор, и я отправился на пристань. Но был «час пик», теплоходы на тот берег отваливали переполненные. Тогда я углядел у набережной небольшой глассерок и пошел просить хозяина, чтоб перебросил на ту сторону Днепра.

Молодой парень, возившийся у мотора, не взглянув на меня, махнул рукой:

— Теплоходы ходят.

— Там много народу, — наивно сказал я.

Парень удивленно вскинул брови.

— Тогда шагай по мосту.

— До него далеко.

— Трамваем можно доехать.

Но, как говорится, мы тоже были «не лыком шиты». По опыту многих встреч я знал, чем брать, и с ходу принялся рассказывать о своей дальней водной дороге, которой противопоказан сухопутный транспорт.

— Ну, раз такое дело, — неожиданно согласился парень и протянул руку: — Микита...

Глассерок Микиты запросто обходил суда и лодки. Справа под самое небо уходила круча берега. Слева, за низкой стеной леса, виднелись кварталы знаменитой Дарницы. Мы поднырнули под мосты, развернулись и помчались назад.

— Нельзя ли потише? — крикнул я «гондольеру».

Мотор тотчас попритих, как ребенок, на которого прикрикнули. Глассерок ткнулся носом в воду и закачался на волнах, медленно поплыл к зеленой протоке. За высоким арочным мостом начиналась «киевская Венеция» — знаменитый Русановский массив. Окна высоких домов гляделись здесь прямо в канал. На берегу в желтом песке кувыркались ребятишки. Рыбаки терпеливо сидели над уснувшими поплавками.

— Пески эти я очень хорошо знал, бегал мальчишкой, — заговорил Микита. — Ничего тут не было, ну совсем ничего — только отмель. А теперь — прямо город на левобережье, больше четверти миллиона населения. Удивительно...

Вот так. Даже киевляне удивляются Киеву.

Микита приткнул моторку к пляжу Труханова острова, и мы еще посидели с ним в тишине, вспоминая всё новые особенности города. Одна из них — этот «бросок» через Днепр. Сколько веков Днепр бежал мимо города, а теперь оказалось, что течет он по середине. Как Дунай в Будапеште. И центр Киева, естественно, переместился к берегам реки. И уже висят над водами мосты, один другого красивее: цельносварный автомобильный; пешеходный — ажурный, как паутинка; метромост — тяжелый, дугой изогнувшийся над рекой. А скоро и сам Днепр в Киеве переменится. Подпертый плотиной Каневской ГЭС — последней, шестой ступенью Днепровского каскада, он станет глубже, шире, многоводнее. И тогда появится еще одна особенность у этого удивительного города: он станет не только крупным речным, но и морским портом. У его каменных причалов и на рейде будут сонно вскрикивать корабли, обожженные солнцем экватора, мытые тропическими ливнями...

Днепр-Славутич, главная магистраль на древнем пути «из варяг в греки», лежал перед нами широкий, чистый, как зеркало отражая высокий противоположный берег и белые пушистые облака над шпилями и крышами старого города.

...В тот вечер я бродил по пляжу до первых призрачных змеек тумана над потемневшей водой. Все думал о больших водных дорогах, о неизменных радостях и неизбежных новых проблемах, что всегда так тесно бывают связаны с перестройкой природы.

## ПРИРОДА И МЫ

«Обнаружены странные существа. Им не страшны ни холод, ни жара, ни всеуничтожающая радиация. Врагов своих они убивают, стреляя ядовитой жидкостью, и затем съедают. Но они могут питаться и... солнечными лучами. У них нет никаких органов движения, и все-таки они движутся. Ученые обескуражены: кто они — животные или растения?..»

В таком фантастическом духе пишут популяризаторы науки о микроскопической сине-зеленой водоросли, чье массовое размножение в водоемах называют цветением воды.

Водоросль эта и впрямь удивительна. Однажды ученые проделали опыт: запаяли в стеклянные шары речной ил и воду с многими простейшими и сложными живыми организмами, создав как бы модель планеты с замкнутым циклом жизни, поставили шары на солнце и стали глядеть — что будет. Постепенно в шарах поггло все живое. Осталась только сине-зеленая водоросль. Она одна целиком заполнила стеклянные «планетки» ученых.

Жизнеспособность сине-зеленых «карликов» феноменальна. Они первыми поселились на бесплодной лаве, извергнутой вулканом Кракатау. Они выжили на острове Бикини при испытании там водородных бомб. Они живут на антарктических льдах и в горячих водах гейзеров, на дне самого соленого в мире Мертвого озера и в водоемах, отравленных промышленными стоками...

Сине-зеленые водоросли стояли у истоков жизни на Земле: их обнаруживают в самых древних докембрийских отложениях. Почему же они до сих пор не заполнили Землю, как это случилось в стеклянных шарах ученых? Потому, что в сложной системе жизни каждому растению и животному отведено строго определенное место и сине-зеленые водоросли живут в своих «экологических нишах», широко развиваясь лишь там, где нарушается эта система. Так случилось на мелководьях новых водохранилищ, в почти неподвижной воде которых изменился круговорот веществ.

Сине-зеленые выходят на арену, когда жизнь отступает. Но они не вестники смерти, а скорее первопроходцы жизни, готовые основу для новых экологических систем.

Так было на заре всей земной жизни, когда не существовало не только животных и растений, но даже и атмосферы, содержащей кислород. Считается, что именно сине-зеленые водоросли наполнили атмосферу кислородом и обогатили землю связанным азотом, подготовив тем самым почву для новых, высших форм жизни. Преобразовав мир, они отступили в самые суровые места планеты, где другим жить не под силу.

Вот каковы эти маленькие сине-зеленые волшебники!

Но людям, живущим у берегов новых водохранилищ, нет дела до фантастических возможностей водоросли. Они выходят на берег, видят сине-зеленую кашу вместо голубой воды и вспоминают страшную сказку о джинне, выпущенном из бутылки.

Что ж, это не первый и, конечно же, не последний случай, когда человек в своей созидательной деятельности сталкивается с неизвестным. Предусмотреть все повороты будущего невозможно. Хотя бы потому, что известное до мелочей — это уже не будущее, а скорее прошлое.

Теперь гидробиологи, подгоняемые общественным мнением, торопятся изобрести средства для борьбы с цветением воды. Они предлагают механические, физические, химические, биологические методы уничтожения водоросли. Но в периоды большого цветения воды фильтры насосов забиваются через каждые полчаса. Но применение химических соединений или малоэффективно, или приводит к отравлению в водоемах всего живого. В последнее время появились предложения использовать полиметаллические руды, на длительное время создающие в водоемах токсическую концентрацию металлов. Но широкому применению их препятствует недо-



статочная изученность всех аспектов проблемы. Предстоит колоссальный труд — исследовать влияние каждого металла на наследственность, на жизнеспособность потомства, на плодовитость живых существ...

Вот так может накручиваться проблема на проблему, если не считаться с законами природы. Поэтому популярной среди ученых остается старая идея использования законов самой природы на основе их познания.

Несмотря на все «грехи» сине-зеленой водоросли, ученые видят в ней не столько врага, сколько друга. К. А. Тимирязев в свое время говорил, что человеку предстоит либо усовершенствовать растение, усваивающее лишь около одного процента солнечной энергии, либо изобрести взамен искусственный прибор. Но сине-зеленые водоросли используют при фотосинтезе энергии в два раза больше. Они незаменимое удобрение рисовых плантаций, ибо связывают атмосферный азот. Сине-зеленые — единственные из растений, способные синтезировать ценный витамин В<sub>12</sub>. Они мощный источник пищевых веществ. На искусственных стендах всего за двадцать часов эти водоросли позволяют получить килограмм белковой массы с квадратного метра — сто центнеров с гектара менее чем за сутки! Они регенерируют углекислоту, окисляют сероводород, разлагают органические кислоты, к тому же совсем не боятся радиации.

Сине-зеленые — первые кандидаты в космические оранжереи. Они могут принести большую пользу и на Земле.

А цветения воды не будет, если при строительстве водохранилищ учитывать рекомендации гидробиологов. Теперь ученые предлагают строить дамбы, осушать мелководья или превращать их в «управляемые» рыбопродуктивные пруды, создавать у водохранилищ постоянные берега, засаживать их камышом и другими водными растениями, разводить рыб, питающихся водорослями...

На многих водохранилищах Днепровского каскада такие работы уже ведутся.

Нашествие сине-зеленых — не единственный случай, с которым столкнулись ученые, преобразуя реки. Было еще нашествие «полосатого реликта» — маленькой ракушки дрейссены, в свое время доставившей людям немало хлопот.

История борьбы с «дрейссенной опасностью» настолько интересна и поучительна, что о ней следует рассказать подробнее.

...Триста миллионов лет назад в теплых морях карбона вымер моллюск неопилита. Подчинившись неумолимому закону эволюции, он уступил место другим, более приспособленным организмам. Но неопилита оставила после себя многочисленное потомство других моллюсков. Чередовались геологические эпохи, менялись очертания материков и океанов, появлялись новые виды животных

и исчезали, а моллюски все жили и множились. Об их бесчисленном количестве свидетельствуют теперь многометровые слои ракушечника.

Незадолго до того, как древние волосатые приматы взяли в руки палку и, сами того не ведая, начали историю человеческого рода, в чистых пресноводных реках тогдашней Европы появилась дрейссена. Вымирали креодонты, падали у водопоев на острую щетку ракушек. Мастодонты и динотерии тяжелыми слоновыми ногами впрессовывали их в каменистое дно рек. Не было водоема, где бы виноградными гроздьями не висела дрейссена. Ее распространение останавливали только горные хребты да соленые моря.

А потом пришло оледенение. Северные реки замерзли, южные помутнели. Бешеные ледниковые потоки несли камни и песок. Нежные сифоны-фильтры ракушек забивались тяжелыми взвесями. Дрейссена погибала.

Долгое время она считалась вымершей. В 1769 году Петр Симон Паллас нашел живую дрейссену в одном из непроточных рукавов Яика — так прежде называли реку Урал. Зоологи описали находку лишь из естествоиспытательского любопытства, не видя от нее ни вреда, ни пользы. Но вдруг дрейссена начала быстро распространяться по Европе. В 1824 году ее обнаружили в лондонских доках, затем в восточнонемецких озерах, в Рейне, в Эльбе...

Вторичному расселению дрейссены невольно помогал сам человек. Суда на своих днищах разносили ракушек по многим рекам, соединенным к тому времени каналами — Мариинским, Огинским, Днепровско-Бугским, системой каналов Западной Европы. Дрейссена захватывала все новые водоемы, распространяясь в почти доледниковом ареале.

Нашествие моллюска на Европу явилось неожиданностью. В реках его распространение ограничивала извечная в животном мире борьба за существование. А в проточных заводских прудах, в каналах и крупных водопроводах с их отстоявшейся и часто профильтрованной водой, где вмешательство человека нарушило естественное соотношение живых организмов, дрейссене ничто не мешало. И она стала размножаться темпами, встревожившими инженеров.

В 90-х годах прошлого века о «дрейссенной опасности» начали писать газеты: ракушка забивала водопроводы Парижа. В 1895 году при чистке берлинского водопровода из труб выгребли целую гору моллюсков, удивившую размерами даже специалистов. В 1909 году на одной из датских электростанций пришлось чистить конденсаторы. Любопытные подсчитали тогда, что только за одну неделю из водотоков извлекли три миллиона ракушек. В 1913 году дрейссена закупорила 36-дюймовую трубу хемптонского водопровода на Темзе. Из нее вычистили 90 тонн ракушек.

Но самым поразительным было «завоевание» моллюском озера Балатон в Венгрии. До 30-х годов нашего столетия дрейссены в озере не находили. Но потом по системе каналов в Балатон пришло несколько судов. Они, как полагали, и занесли дрейссену на своих днищах. 12 сентября 1932 года один из сотрудников Балатонского биологического института, купаясь, уколол обо что-то ногу. Биолог оказался достаточно любопытным: он нырнул и нащупал под водой ракушку. Это была первая находка дрейссены в Балатоне. Ученые знали, что моллюск будет размножаться, но они не предвидели темпов. Всего через два года ракушка появилась всюду. Она сплошным слоем покрыла сооружения в гавани, сваи, лестницы купален, камни, днища судов, прибрежный тростник, стебли и листья рдестов и даже панцири и ноги раков. До 30 тысяч ракушек насчитывали местные жители на каждом квадратном метре дна.

В Советском Союзе с «дрейссенной опасностью» впервые столкнулись на Днепрогэсе. Моллюски толстым слоем покрыли подводную часть плотины, решетки, напорные трубы и щиты гидростанции. Местами толщина обрастания достигала полуметра.

После войны дрейссена «напала» на канал имени Москвы. В 1947 году она там была в единичных экземплярах. А шесть лет спустя сплошь, в несколько ярусов, облепила бетонные берега и шлюзы. Она появлялась во всех водохранилищах. Ракушка как будто шла вслед за людьми, бурно размножалась там, где человек вмешивался в природу. Люди строили плотины — она покрывала бетон толстым слоем. Погибая и разлагаясь, она образовывала сероводород, который приводил к коррозии бетона. Прокладывали гигантские трубопроводы — она закупоривала их. Бывало, что из-за этого останавливались заводы. Проектировали скоростные суда, а дрейссена цеплялась за их корпуса и даже за гребные винты. Скорость судов падала вдвое. Строили гидроэлектростанции — она мириадами повисала на сорозадерживающих решетках, словно хотела загородить путь воде. Были случаи, когда она проникала в трубопроводы турбин и выводила из строя мощные гидроагрегаты.

Как с ней справиться? Первое, что приходило на ум, — яды. Отравить — и все тут, например хлором. Но оказалось, что это не так-то просто. При смертельной концентрации яда ракушки мгновенно закрывали створки и ждали, пока у людей лопнет терпение. А малые дозы для дрейссены были безвредны.

Проще на бытовых водопроводах: там вода постоянно хлорируется. Но предприятиям хлорирование не подходило, им нужна чистая вода. А на ГЭС и того труднее: нельзя же хлорировать, например, весь Днепр. Слишком дорого. Кроме того, в реках есть и другая живность, которую травить было совсем уж незачем.

И все же на некоторых зарубежных электростанциях шли даже на это — так досаждала дрейссена.

Проблема борьбы с моллюском вошла в планы большинства гидробиологических научных учреждений. Против него было брошено едва ли не все, чем располагала современная наука: самые замысловатые сочетания покрытий — от кузбасского лака с примесью ДДТ до «слоновой кости» с пиретрумом, электрический ток, горячая вода, хлор, медный купорос, гидроэлектрический эффект, ультразвук...

Но наибольший успех выпал на долю тех ученых, которые начали, казалось бы, с чистой науки — с детальнейшего исследования «привычек» самой дрейссены. Они выяснили, что взрослая ракушка начинает выметывать яйца, как только температура воды поднимается до 15 градусов. За сезон она успевает выкинуть до 70 тысяч яиц. Через сутки каждое из них уже личинка, так называемая трохофора. Еще через двое суток личинки превращаются в велигеров и поднимают «паруса». Именно так называется приспособление, которое позволяет им «парить» в толще воды и путешествовать с течениями. Размер велигеров — 170 микрон. С током воды они проникают всюду, и даже песчаные фильтры не могут их остановить.

Через десять дней велигер достигает в длину четверти миллиметра и начинает искать себе постоянное местожительство — твердый субстрат, как говорят ученые. Это уже поствелигер. Он еще может, если ему не нравится место, перебраться на новое.

И вот проходит месяц. Ракушка выросла до трех миллиметров и стала взрослой. Теперь она обречена жить и расти там, где осела, будь это подводный камень, раковина другой дрейссены, фильтрующая решетка гидросооружения или трубопровод. Ракушка крепится к стенке тонкими и упругими, как капрон, бисусными нитями. До двухсот таких нитей гарантируют ей покой.

А человеку гарантируют хлопоты. Ведь порвать бисусные нити почти невозможно, скорее сорвешь с дрейссены створки раковины. Оставаясь на месте, ракушка увеличивается в 10—15 раз, выметывает новые десятки тысяч личинок, которые, когда подходит срок, оседают рядом, завоевывают новые площади, покрывают все вокруг толстой и прочной «шубой».

Умертвить всю эту массу живности нетрудно: достаточно лишь перекрыть воду, разумеется, если это возможно. Но вычищать потом мертвую дрейссену — дорогостоящий и тяжелый труд. Кроме того, при всех ухищрениях не удается удалить ракушки отовсюду, особенно из небольших труб и трубочек промышленных водотоков.

Ученым было ясно, что бороться с дрейссеной надо на ее личиночной стадии, пока она не осела, не закрепилась своими нитями.

Снова начались опыты, непрерывные и утомительные наблюдения с единственной целью — накопить факты. Таких опытов и наблюдений понадобилось десятки тысяч, прежде чем удалось выявить одну важную закономерность в развитии дрейссены, которая позволила найти ее ахиллесову пяту. Оказалось, что в течение сезона бывает два-три бурных периода размножения, когда в каждом кубометре воды насчитывается до 300—400 тысяч личинок дрейссены. Из этого с большим трудом найденного факта и родилась технически приемлемая идея периодической борьбы с моллюском.

Наиболее подходящим средством уничтожения дрейссены оказалась обыкновенная вода, подогретая до 60 градусов. Провести профилактику гидроагрегата теперь можно в считанные минуты. Для этого нужно всего несколько кубометров подогретой воды. Электроды, вмонтированные в систему трубопроводов, превосходно справляются с такой задачей. Погибшая мелкая ракушка после включения гидроагрегата выносится водой в нижний бьеф плотины. Она нигде не накапливается и не засоряет трубопроводов, потому что створки ракушки еще не успели окрепнуть...

Найденный метод не всеобъемлющ. Ученые ищут и находят пути борьбы с дрейссеной, наиболее эффективные в каждом конкретном случае. Но он лишний раз доказывает известную истину, что лучший помощник человека в трудном деле преобразования природы — сама природа, если она взята в союзники...

Точно так же, как в случае с сине-зелеными водорослями, изучение биологии дрейссены привело к открытию многих ее замечательных качеств.

Есть такая наука — малакология. Она изучает моллюсков. Существоует Европейский малакологический союз. Тысячи ученых посвящают моллюсков всю свою жизнь. Потому что моллюски — самый многочисленный после насекомых класс животных: их 112 тысяч видов.

Палеонтологи по древним раковинам узнают о прошлом нашей планеты. Геологи определяют по ним возраст породы, что помогает искать нефть, уголь, сланцы, природный газ. Строители возводят из ракушечника дома. Одесса, Симферополь, Севастополь, Керчь и многие другие южные города в прошлом чуть ли не целиком строились из этого материала.

Моллюски дают жемчуг и перламутр. Но главная их ценность — белок, который они накапливают с большой быстротой. Биомасса моллюсков колоссальна. Маленькие улитки, гигантские осьминоги и кальмары, деликатесные устрицы и красавицы тридакны в огромных количествах заселяют планету. Многие из них лакомство для людей и превосходный корм для скота. По вкусовым качествам и питательности мясо моллюсков не уступает самой благородной рыбе.

Человечество все пристальнее всматривается в глубины вод, видя в них одну из основ будущего процветания. Сейчас мы переживаем эпоху, которая, возможно, будет иметь не меньшее значение в истории, чем в свое время имел переход от охоты к скотоводству и земледелию. Привычные понятия пастбищ и лугов человек переносит на океан, на озера и реки. С каждым годом все больше становится культивируемых подводных лугов, где выращиваются водоросли. Делаются попытки создавать искусственные стада рыб, которые нагуливали бы вес в море, а потом возвращались к берегу, к человеку. Развивается новая отрасль хозяйства — устрицеводство.

Если исходить из этих тенденций, то двустворчатые моллюски — просто клад. На суше им даже нет аналога. На суше нет животных, которые росли бы, как грибы. Именно такое сравнение приходит на ум, когда говорится о моллюсках как источниках пищи или корма. Это очень быстро сообразили венгерские крестьяне во время массового размножения дрейссены в озере Балатон. Они кормили ракушкой свиней и кур, применяли ее в качестве удобрения.

И у нас в некоторых поселках на Волге уже заготавливают дрейссену впрок, содержа ее живой в воде. Для этого используются простейшие деревянные рамы. Их опускают с мостков в воду и, когда они обрастают молодой дрейссеной, вытаскивают на берег. Вот и весь процесс заготовки корма для свиней и кур.

Дрейссена во всех стадиях развития — хороший корм для рыб. Наши знаменитые белуги, севрюги, осетры нагуливают жир именно на «дрейссенных пастбищах».

Сейчас, когда человечество все острее ощущает недостаток в чистой пресной воде, особенно важной становится и другая особенность дрейссены — способность очищать воду. Если налить в ведро мутной болотной воды и бросить туда десяток ракушек, то уже на другой день она будет совершенно чистой.

Непрерывно, в течение всего дня, дрейссена фильтрует воду. Ракушка питается органическими взвесями, а все, что несъедобно, обволакивает слизью и в виде мелких катышков выбрасывает на дно. Недаром в тех местах, где много дрейссены, вода прозрачна. Ученые выяснили, что один моллюск весом всего полграмма за восемь-девять часов очищает пол-литра воды.

Вот так нередко бывает в общении с природой: враг оказывается другом, если его поближе узнать...

## ЕЩЕ О ПРИРОДЕ

В Москве мне говорили: «Если в Киеве не помотришь сирингарий, считай, что не увидел самого главного. Там есть «бог» — профессор Рубцов, который знает, как создать на земле райские кущи».

После таких напутствий киевский сирингарий представлялся мне чем-то вроде фантастических лесов конан-дойлевского затерянного мира. Хотя и было странно: подумаешь, еще один цветок! В Москве их мало ли? Но таково уж свойство рекламы: она не отпускает нас, пока не добьется своего.

Вот почему в один из своих киевских дней я сел на Бессарабке на четырнадцатый троллейбус и отправился в Ботанический сад.

С холма на холм шагал я по асфальтовым и песчаным дорожкам сада, то попадая в уютные низинки, то возносясь на вершины, откуда открывались захватывающие дух панорамы с далекими мостами, белыми кварталами домов, густой зеленью на пологих склонах и ровными грядами облаков, развешанных в синеве.

Возле старенького двухэтажного дома, прижавшегося к склону, я нашел этого человека.

— Значит, путешествуете? — спросил Рубцов, выслушав мои объяснения. — Позвольте узнать, куда?

— Вроде как «из варяг в греки».

— Далековато. Что же вас интересует?

— Земля. И конечно, люди. А сейчас один вопрос: мне говорили, что вы знаете, как на нашей «отехниченной» земле создать райские кущи.

Он усмехнулся.

— Рай — довольно скучное место. А вот обогатить природу, сделать ее такой, чтобы она давала ощущение жизненной полноты, богатства и красоты, — это можно и нужно.

— Поймите правильно, — смутился я. — Это же не пустой вопрос. Иногда говорят: надо взять природу за горло. Но ведь природа — наша мать. Мы еще не можем оторваться от ее груди, а уж нередко пинаем. А вдруг она да рассердится? Вдруг да начнутся какие необратимые процессы?.. Человек не может без городов. Но города соединяются между собой, и природа все отодвигается. Что же дальше?

Рубцов вздохнул.

— Пойдемте, — сказал он.

И повел по дорожкам. Мы поднимались на пологие склоны, спускались с других. И молчали. Постепенно тихая умиротворенность охватила меня. И с каждым поворотом дорожки я заново открывал в себе давно забытые ощущения. Это было какое-то новое видение, не только глазами, а как будто и памятью и всем, что обычно бы-

вает связано с воспоминаниями. То под ногами открывалась чистейшая полянка с редкими кустами можжевельника и травой, такой зеленой, какой, казалось, не видел с детства. То кулисы берез раступались, как занавеси в театре, и в просвете вспыхивали золотые купола Киево-Печерской лавры. То вставали на пути аккуратные темные ряды елей, напоминая прохладный север. А то голубое озеро вдруг робко выглядывало из-под плакучих ив...

Профессор остановился на верхней площадке пологого склона. Параллельными рядами сбегали вниз валы высоких кустов. Они упирались в белые стены церкви, за которой темнел Днепр; перечеркнутый линией моста. И сверкали вдали пляжи, и синела бесконечная даль...

— Это наш сирингарий, — сказал профессор. — Если нужны цифры, то пожалуйста: здесь больше двухсот сортов и видов сирени, свыше полутора тысяч кустов. В мае благоухают полмиллиона кистей...

Так вот он, знаменитый киевский сад, о котором столько говорят! Не то что от ароматов, от одних названий может закружиться голова. Самый тугой на ухо человек не устоит перед таким букетом имен: Персидская, Бархатная, Великолепная, Пушистая, Гималайская. Или — Мечта, Комсомолки, Лесная песня, Невеста, Киевлянка, Огни Донбасса. Или — Мадам Лемуан, Принцесса Клементина, Жанна д'Арк, Мари Легрей, Весталка, Мисс Элен, Красавица Нанси. Есть сорта Лавуазье, Бюффон, Реомюр, Леон Гамбетта и даже Карл X. Я представил себе эти кусты в пене цветения и понял слышанные рассказы, что, когда сад цветет, Киев переживает своеобразную лихорадку улыбок. О сирени будто бы только и говорят в автобусах, на улицах, даже на стадионах. За две недели цветения, пока ароматы стекают по склонам, в сирингарии успевают побывать свыше ста тысяч киевлян.

И мне вспомнилась слышанная где-то фраза, что в сосновом лесу можно молиться, а в березовом — веселиться. Вот как понимает народная мудрость эстетическую силу дерева! А что же тогда в сирингарии? Сюда бы Дворец бракосочетаний!..

Хитер же профессор: молчал всю дорогу, а ведь, в сущности, сколько сказал! И что природа не может не стать органической частью города, и что не только оздоровительной — облагораживающей силой обладает вид листка и цветка, шум ветра в кронах и аромат свежей зелени...

И все же я спросил:

— Значит, можно примирить человека с природой?

— Разве они ссорятся? — быстро спросил Рубцов. И вдруг заговорил страстно, как в споре: — Впрочем, нередко и ссорятся. Мы стиснули свои жилища узкими улицами городов, разогнали машинами тишину. Мы иногда становимся жертвами своего собственно-



го творчества. Мы написали тома о благоприятных условиях для морских свинок и мало знаем, в каком физическом окружении человек лучше и полнее развивается.

А ведь человек рожден с любовью к природе, к чистому воздуху, солнцу, мягкой тропе под ногами. Человек инстинктивно ищет гармонию во всем, его отталкивают безобразия и нелогичность. Человек не может без красоты и порядка, он никогда не полюбит шум автомобилей, духоту каменных ущелий улиц. Кто знает, может, наши распространенные ныне гипертонии и неврозы не что иное, как сопротивление организма условиям, которые мы создали для себя сами и называем индустриальными удобствами.

И все же я утверждаю: человек может создать свой «земной рай». Разумеется, если не будет пренебрегать природой: рельефом и почвой, ветрами и реками, лесами и всякой прочей растительностью. Необходимо слияние технических форм с естественными. Следует приближать природу к нашим жилищам, обдуманно размещать сооружения среди природного ландшафта.

— Вы были в Крыму? — неожиданно спросил он. — Помните, как смотрится, например, Ялта со стороны Никитского сада? За близкой стеной зеленых вершин голубеет залив, а за ним у подножия горы — белые улицы. В самой Ялте, там много «наиндустриалено», а вот издали она прелесть. Да мало ли городов в Советском Союзе, откуда не хочется уезжать?!

— Это иногда зависит от настроения.

— Именно от настроения, — подхватил он. — А настроение, ведь оно тоже проектируется вместе с жилыми домами, магазинами, кинотеатрами. Что такое архитектура? Это прежде всего искусство построения жилого пространства внутри здания. А есть еще ландшафтная архитектура. Ее задача — организация пространства для жизни вне здания. И это не менее необходимо. Ведь человек не сидит все время в четырех стенах.

У нас немало организаций по озеленению, мы гордимся цифрами посадок. И жалуемся: деревья закрывают свет, прячут фасады домов, отгораживают красивую панораму. Нужно не просто озеленение, а ландшафтное строительство. Видели, как смотрится лавра в просвете между полосами берез? А ведь чтобы создать этот красивый вид, нам пришлось срыть бугор и по-новому рассадить деревья. Этот вид создан искусственно. Старина как бы вписана в природу. И современные здания становятся составной частью ландшафта, если все соответственно продумывается. Архитекторы чаще всего увлекаются поисками форм и линий. А надо еще «проектировать» эмоции, настроение человека. Форма должна получать свои очертания в зависимости от запроектованного переживания. В идеальном саду, например, человек редко осознает особенности планировки, скорее он чувствует мириады приятных взаимо-

связей, вызываемых окружением. Красота — не только в форме фасадов да подъездов. Она — результат, явление, которое возникает вдруг — в том месте и в тот момент, когда гармоничны все взаимосвязи...

— Но как можно запроектировать настроение?

— Вы знаете ноты? — спросил он.

— Немного.

— А музыку понимаете?

— Думаю, что да. Во всяком случае люблю.

— Разве вы всегда обязательно стремитесь понять, как пишется музыка? Вы воспринимаете то, что она дает. И просто наслаждаетесь. А музыкант заметит все такты и паузы, услышит и скрипки, и фаготы. Потому что он специалист, он этому учился. И ландшафтной архитектуре надо учиться. Может быть, даже больше, чем просто архитектуре... Впрочем, всего не расскажешь. Возьмите-ка в библиотеке книгу Джона Саймондса «Ландшафт и архитектура». Там очень много об этом сказано.

Он попрощался и пошел по аллее, невысокий, ссутулившийся. И мне бросилось в глаза несоответствие его такого обычного внешнего вида с ярким миром мысли, который он только что приоткрыл мне.

Профессор остановился на повороте, повернулся и пошел назад.

— Создали Комитет по охране природы, — сказал он строго. — Ну и названьице. Вроде фабричной охраны. Нужен Комитет по обогащению ландшафтов. Так и запишите. Первозданность природы можно сохранить только в заповедниках. Во всех остальных местах природе нужно не просто охранять — обогащать...

### ЧУДЕН ДНЕПР...

Не так-то просто в разгар лета уплыть из Киева на пароходе. Поглядев на толчею возле касс, я отправился хлопотать о транспорте в Главное управление речного флота Украины, находившееся неподалеку от речного вокзала.

На втором этаже старинного здания я попал в маленький кабинет начальника Управления перевозок Михаила Борисовича Кавицкого. Высокий, прямой, сухощавый, как и подобает капитанам, он сидел в комнате, увешанной картами и схемами, и разговаривал со всем Днепром сразу.

— Запорожье? Сколько отправили?.. Да помолчи ты, Херсон!.. Кремгас? Как погода на водохранилище? Штормит? Когда утихнет?..

Щелкнул выключатель селектора, и голоса исчезли. Днепр со всеми его пароходами, теплоходами, баржами, маяками, порталными кранами, пристанями, диспетчерскими отодвинулся далеко,

за толстые стены, за пойменные луга, за широкие водохранилища. И ничего в этом не было удивительного. Но мне, привыкшему мерять реки по километро-дням и уставшему от междугородних ожиданий в душных райпочтах, такая селекторная молниеносность показалась чудом.

...Снова гудел селектор, в кабинет врвался разноголосый говор диспетчеров, сидевших «за морями, за долами» во всех портах тысячекилометровой реки.

...О Днепр-Славутич! Много веков бежал ты в своих зеленых берегах, кипел на порогах, по весне заливал кустарники в пойме, мелел в межень так, что местами тебя переходили овцы. Безучастный, смывал кровь и уносил в море трупы воинов, так часто сходящихся на твоих кручах. Тысячи лет ты был сам по себе, и не было тебе дела до суеты лодок и барок, до белых городов, выроставших на твоих берегах. Но людям было до тебя дело. И вот они вамахнулись на вековое твоё величие. Испокон бежал ты ровнехонько, как по пологой горке. А теперь прыгаешь по ступенькам плотин. Вот она, твоя нынешняя лестница, висит нарисованная в кабинете у Кавицкого.

И ты разлился, сердитый, до горизонта, навалился, могучий, на колеса турбин, гонишь высокие волны на белые пароходы. И невдомек тебе, что людям нужно как раз то, чем ты их пугаешь: твоя сила для генераторов, твоя высокая вода для полей и заводов, твои просторы для больших теплоходов. Уже не маленькие ладьи бегут по твоим волнам — тяжелые суда, которым не страшны и морские волны.

Ты и не заметил, Славутич, как стал морем, и киевские кручи, от которых до моря было ой как далеко, услышали солидные гудки теплоходов-исполинов. Плывут шихта и уголь вниз по Днепру, по Черному морю и Дунаю в Австрию. Обратные суда возвращаются груженые югославскими бокситами. А вверх по Днепру теплоходы везут железную руду для домен Германской Демократической Республики. Далеко везут, аж до самого Бреста, где руда перегружается в вагоны. Плывут по Днепру хлеб и нефть, песок, щебень и всякие прочие грузы. Плывут люди: каждый год днепровские суда перевозят пять населений Киевской Руси или каждого второго жителя теперешней Украины...

Таково настоящее этой большой водной дороги. «Редкая птица долетит до середины Днепра», — писал Гоголь. Что же он сказал бы, увидев днепровские моря?! Каким бы эпитетом он наградил реку, узнав о ее будущем?!

Вся Украина пьет из Днепра. Уже протянулись каналы до Кривого Рога, до крымских степей. Вполне возможно, что они станут и судоходными. Ибо удобнее грузить руду на теплоходы прямо в Кривом Роге, нежели везти ее по железной дороге, для того чтобы

потом перегрузить на сухогрузы. Ибо быстрее и безопаснее отправлять суда по каналу прямо из Каховского моря в Азовское, чем по нынешнему трудному и долгому пути вокруг всего Крыма...

— ...Так что вам угодно? — спросил Кавицкий, оторвавшись от селектора.

Снова, который уже раз за дорогу, я начал рассказывать о своем водном путешествии через материк.

— Пароходы ходят по расписанию, у них график, — прервал меня Михаил Борисович, удивив своей пронизательностью. — Зачем пароходом? Хотите на БТ?

Как оказалось, это таинственное название нес на своем борту маленький буксирный теплоходик, перегонявшийся в низовья.

Был вечер. Литаврами гремели железные балки в порту, саксофонно вскрикивали пароходные трубы, прокуреными голосами ораторили шкипера. Под эту прощальную симфонию мы отчалили, и через полчаса я уже спал на палубе, забравшись в свой спальный мешок.

Проснулся я сам не знаю от чего. Просто вдруг открыл глаза, и все. По небу высоко ползли розовые тучки. Справа нависал крутой берег, и казалось, что эти тучки-барашки паслись там на лугах и разбредались по небесной сини, убегая влево, где еще лежала ночь.

«Почему восход справа? Ведь Днепр течет на юг?»

Неожиданная мысль вытолкнула меня из спального мешка.

— Мы что, повернули назад?

— Ни... — рулевой был неразговорчив после бессонной ночи.

— Почему же солнце всходит справа?

— Где ж ему всходить?

— Но ведь мы плывем на юг, и, стало быть, справа — запад.

— Ни, мы плывемо на пивночь.

Может, свет перевернулся, пока я спал, и Днепр потек наоборот? Видно, на моей физиономии была нарисована крайняя степень недоумения, ибо рулевой вдруг расчувствовался.

— Волновался цуцик за мисяць, що вин пропадае. Не волнуйся, правильно Днипро тече, як раз на пивночь.

— С каких это пор?

— Давно вже, — серьезно ответил рулевой. — Вин тут як раз кругаля дае.

Я вздохнул: все в мире на своих местах.

— Где мы теперь?

— Ржищев прошли. Скоро Переяслав будет.

— Причалим? — взмолился я.

Рулевой промолчал. Потому что стенка за ним вдруг откинулась, как дверца, и в рубку выбрался взъерошенный от сна, улыбающийся парень в капитанской фуражке.

— А, писатель проснулся,— сказал он.

— Журналист.

— Какая разница!

Капитан потянулся одними плечами и, прищурившись, стал глядеть вперед, где на низком левом берегу у редких ракит тянул шею одинокий кран. Там была пристань Переяслава-Хмельницкого.

Вскоре мы нежно притерлись бортом к железной барже, стоящей у берега, где — редкое везение — нас ждал автобус. До города было двенадцать километров. После гладких водных дорог сухопутные ухабы показались просто несносными.

— Почему не ремонтируют дорогу? — спросил я у шофера.

— А чего ее ремонтировать? Скоро тут море разольется, все ухабы затопит. Вон дамбы намывают.

За придорожными ивами желтели широкие полосы песка. Там шевелились бульдозеры и экскаваторы, из-за дамбы виднелась рубка земснаряда. Готовились новые берега очередному морю — Каневскому. Когда Днепр разольется, он подойдет почти под самые стены Переяслава. Тогда на Днепре прибавится еще один порт. Несомненно, он будет весьма оживленным, потому что Переяславу уготована судьба первого, после Киева, исторического заповедника Украины — святого места воссоединения народов-братьев — русского и украинского.

— Вот и город,— сказал шофер, кивнув на белые домики, вынырнувшие из-за поворота.

Переяслав-Русский во времена Киевской Руси, после просто Переяслав и, наконец, с многозначительной приставкой — Хмельницкий, вырастал впереди голубыми шеренгами окон и зелеными купами тополей.

Город этот небольшой, тихий. Швейная фабрика — самое крупное здесь предприятие. Есть и другие — фабрика художественных изделий, маслосырзавод, обувная фабрика... Но они как-то не мешают санаторной тишине и свежести зеленых улиц.

Откуда начинать осмотр Переяслава-Хмельницкого? Конечно же, с площади Воссоединения, где знаменитый памятник: две женщины, символизирующие Россию и Украину, рука об руку ступают в будущее.

Я посидел на скамье возле памятника, вспоминая читанное о тех временах, когда разделенные веками народы подали друг другу руки.

У всех наследников Киевской Руси была одна судьба. Раздираемые захватчиками народы мечтали о единстве в борьбе и жизни. Раньше других подняли головы московские русичи. И к ним, как единственной надежде, потянулись остальные. Уже в середине XVI века один из первых руководителей украинской казачьей воль-

ницы Дмитрий Вишневецкий, по прозвищу Байда, присягал московскому царю и вместе с русскими отрядами громил крымских ханов. А это было за сто лет до Богдана Хмельницкого. Решительными сторонниками воссоединения Украины с Россией были знаменитый повстанец Наливайко, гетман Сагайдачный, киевский митрополит Борецкий. Украинские казаки в трудные времена не раз уходили в Россию вместе со своими атаманами. Россия была спасительным тылом для тысяч украинских крестьян, разоряемых панами и ханами.

Богдан Хмельницкий осуществил давнюю мечту народа о воссоединении, избавил Украину от многолетних «браней и кровопролитий». Когда он произнес на Переяславской раде свою знаменитую речь, весь народ, как свидетельствуют очевидцы, «возопил»: «Чтоб есми вовеки вси едино были!»

Единства народов-братьев враги боялись всегда. Еще византийский политик Маврикий Стратег предлагал принимать всяческие меры против объединения славян. Воссоединение Украины с Россией явилось мощным ударом по планам захватчиков. И ныне единство народов Советского Союза, и прежде всего русского и украинского, — один из важнейших источников силы и могущества нашей Родины...

В Переяславе меня ждала «тайна». Я почувствовал ее волнующее дыхание, когда директор местного музея Михаил Иванович Сикорский стал показывать мне свои владения. Я неторопливо осматривал маленький одноэтажный домик музея, словно крепость оцетинившийся старинными пушками, тот самый, где Шевченко писал свой знаменитый «Заповіт».

— Пойдемте дальше, — торопил меня директор.

— Разве есть еще музей?

— Ни, то филиалы...

Первый «филиал» оказался неподалеку — мемориальный музей академика В. И. Заболотного, обставленный не хуже иного столичного музея-квартиры.

Потом мы подошли к большому стеклянному павильону. Под его крышей оказалась целая панорама археологических раскопок: поднимавшееся на метр от земли основание Спасской церкви — ровесницы Софии киевской, — разрушенной монголами в 1239 году. Остатки росписей, истертые каменные плиты, витрины с экспонатами.

— Во сколько вам обошелся этот «археологический дворец»? — спросил я.

— Тридцать тысяч.

— Киев финансировал?

— На свои средства.

«Не хочет говорить», — решил я.

Мы прошли еще несколько улочек и попали в Михайловскую церковь, ровесницу той самой рады, что прославила город.

У ворот стояли две огромные чугунные пушки. На одной надпись: «Сибирь. 1724 год».

— Редкие, — сказал Сикорский и похлопал пушку, как хлопают по шее любимую лошадь. — Из Кременчуга привезли. Там они были в землю вкопаны возле памятника, чи десять, чи больше. А потом их свалили в кучу. Я говорю: дайте нам, вернем, когда у вас будет музей. А они говорят: дюже богатый металлолом. Две увез. А другие пошли вместе с ломаными кроватями... Только эти и остались петровские пушки, мабуть на всю Украину...

Тяжело скрипнули двери, и мы попали в мир красок. В витринах старинные одежды — крестьянские, купеческие, мещанские; под потолком — изукрашенные балки; на стенах — резные ярма для волов, в углу — стол и на нем семь больших деревянных мисок. С потолка, словно боевые знамена, свисали домотканые ковры...

Собрать такие ценности на куцые финансы районного музея мне казалось совершенно невозможным.

— Ага, — догадался я. — Тут, наверное, еще до войны были музей.

— Был один. Сгорел со всеми экспонатами.

— Так когда же это собрано? — воскликнул я. И услышал рассказ, который, услышав я его от других, принял бы за ненаучную фантастику.

...В 1951 году, после окончания Киевского университета, 28-летний историк Михаил Сикорский прибыл в Переяслав-Хмельницкий директором музея. Это была почти символическая должность, ибо от довоенного музея оставалось одно название, если не считать нескольких десятков случайно уцелевших экспонатов. Начни я рассказывать о деятельности молодого директора подробно, получился бы целый роман на историко-патриотическую тему. Сикорский вместе со своими помощниками, столько же увлеченными и самоотверженными, объездил и исходил всю округу, не ограниченную, однако, соседними селами, районами или даже областями. Выпрашивали и привозили все — от старых закопченных горшков до целых деревянных казацких церквей. Так собралось двадцать тысяч экспонатов...

Затем мы прошли к мутной речке Трубежу, поросшей высоченными осокорями, и оказались на широком поле — том самом, на котором летом 992 года юноша Кожемяка на виду у готовых к бою дружин «перейал славу» у печенегов, победив их лучшего богатыря. За полем был крутой склон. На нем виднелись соломенные крыши хат, старинные ветряки.

— Село?

— Этнографический музей под открытым небом.

...Под старым курганом, куда мы попали, пройдя по глубокой траншее, на дне трехметровой ямы лежал скорченный скелет древнего воина, похороненного здесь четыре тысячи лет назад. Не в музейной витрине, а под тем самым курганом, где некогда шумела тризна и стучали бронзовые мечи.

Неподалеку — полуземлянка. Точно такая, в каких жили смерды времен Киевской Руси, с топчаном, печью, топившейся по-черному, задвижками на узких окнах-амбразурах, хитрым замком-защитным на дубовой двери.

На пригорке — деревянная казацкая церквушка начала XVII века. А за ней, в раздолье садов, — соломенные крыши хат, клуней, клетей. И все так, будто лишь вчера отсюда съехали хозяева. Вот хата бедного крестьянина: люлька на веревках, низкий топчан, сапоги под ним, дешевые образа в углу. В хате зажиточного и скамьи почище, и рушники на окнах побогаче, и цветочная роспись на стенах. В сарае огромный пресс для выдавливания подсолнечного масла. Во дворах порожние возы. Неподалеку водяная и несколько ветряных мельниц. В целости перевезена на Татарскую гору хата, где одно время находился штаб Котовского. Воспроизведен дом первых коммунаров села Сипяги.

...Мы восхищаемся старинными дворцами, восторженные, ходим в мягких шлепанцах по паркетам графских особняков. «Жили же предки!» — удивляемся мы. И забываем, что вовсе не так жили мужики-работяги, наши деды и многопрадеды. Они наши предки, а не чопорные графы.

Конечно, красоту, созданную мужиками, надо почитать. Но нельзя не почитать и самих мужиков, их нелегкое житье-бытье. Надо хорошенько знать его. Чтобы не подумалось внукам, что наши деды жили в хороммах. И нельзя не быть благодарным Михаилу Ивановичу Сикорскому и его друзьям за сохранение реликвий, связанных с жизнью простого люда.

Однако как все-таки удалось это? Когда настало время прощаться, я напрямик задал Сикорскому этот вопрос.

— Та я ж и говорю: трудно было. Сами ездим, ищем, что покупаем, а больше выпрашиваем. Сами работаем...

Он повернул руки ладонями вверх, и я увидел мозоли, кожу в черных трещинах, грубые, не директорские ногти.

— Только без секретаря райкома нам мало что удалось бы. Когда не захожу в райком хоть неделю, он сам вызывает и спрашивает: что, мол, ничего не просишь? Разве ничего уже не нужно? Если где будете писать о нас, так и напишите: без секретаря райкома партии ничего бы не было.

— А теперь мы создаем музей Букринского плацдарма, — продолжал Сикорский. — Он здесь был, на той стороне Днепра. Уже пушки для экспозиции достали и танки...



Нельзя было не восхищаться энергией этого человека, его самоотреченной влюбленностью в родной край. Ибо созданное им «собрание музеев» — это, несомненно, трудовой подвиг, один из тех подвигов, какими богата наша повседневная жизнь...

А потом я попал на место воинского подвига — Букринский плацдарм.

Уже под вечер мы отвалили от пристани Переяслава-Хмельницкого и стали огибать высокий утес — Батурину гору с ее крутыми склонами, с полоской кустиков поверху, напоминавших казацкий чуб.

Я упросил моих судоводителей причалить хоть ненадолго к этому знаменитому берегу. Теплоход обогнул голый травянистый островок, ткнулся носом в песчаный обрывчик с обвисшей дервиной.

Через несколько минут, захывшийся от крутизны, я стоял на голой вершине. Внизу темнел Днепр с пятнами островов. А за ним, на той стороне, сколько видел глаз, расстилалась до горизонта зеленая низина с белыми пятнами мазанок, с далекими церквушками Переяслава.

Ветер давил ровный и упругий, какой бывает на море. Шуршала сухая трава. Облака плыли, казалось, над самой головой. Здесь жила сказки.

Может, именно на этом утесе обезумевший от любви Руслан бился с гордецом Рогдаем? Не на эти ли кручи выезжал таинственный всадник страшных гоголевских сказок? Не здесь ли стояли «заставы богатырские», оборонявшие подступы к Киеву, и три богатыря, поигрывая пудовыми палицами, вглядывались в дымную даль? И уж совершенно точно, что Батурина гора, как и другие высоты над Днепром, использовалась для скорой сигнализации о приближении кочевников. Завидев пыль табунов, дозорные зажигали костер на вершине. Тотчас вдалеке вспыхивал другой огонек. Так прыгая с горы на гору, «красный петушок» быстро добегал до Киева.

Не отсюда ли пошла сказка о золотом петушке, предупреждавшем о приближении врагов?

Под Батуриной горой прежде стоял древний Заруб — крепость, охранявшая брод через Днепр. С вершины широк простор, и действительно кажется, что «редкая птица долетит до середины Днепра». Но ведь известно и другое. Случались такие сухие лета, что даже овцы переходили по Зарубинскому броду. А уж кони и подавно. Об этом знали киевляне, знали и кочевники. И не раз тут, на берегах, вспыхивали жаркие схватки.

И уж совсем недавнее, что еще и быльем не поросло, похожая на легенды действительность — жестокая битва, разгоревшаяся на

этих кручах в минувшую войну. Именно здесь я впервые нашел для себя ответ на старый, наболевший вопрос: почему в 1941 году фашисты легко преодолели Днепр и почему два года спустя нам так трудно было форсировать его? Потому, что восточный, низкий берег совсем не годится для обороны, зато западный — естественная крепость. С его высот далеко проглядываются заднепровские равнины.

Нет, «Восточный вал» — последняя надежда захватчиков — не был геббельсовской выдумкой. И невоенному ясно: на этих кручах можно отсидеться. Недаром фашисты так верили в долгий отдых на Днепре. «Западный берег Германия одела в бетон и оковала железом. Мы создали там неприступный Восточный вал...» — сообщали германские листовки. «Сегодня можно заснуть... Днепр здесь широк и глубок, а берега так высоки и отвесны, что мы чувствуем себя вполне спокойно. Здесь все, от генерала до солдата, уверены, что русские будут остановлены» — так писал домой один из оккупантов 21 сентября 1943 года.

Но той же ночью Днепр переплыли советские разведчики.

В Советской Армии шли митинги. И как в былые времена перед тяжкой битвой, почтенные полководцы говорили со своими войсками. «Вы пришли сюда... через жаркие бои, под грохот орудий, сквозь пороховой дым... Сегодня наш путь через Днепр. Окиньте взглядом берег, что стоит перед вами. Там... украинская земля, там дети и жены наши, отцы и матери...»

Гремели клятвы на левом берегу.

Гремели клятвы и на правом.

«Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его», — заявлял Гитлер.

И вот наступил день 22 сентября 1943 года. Крестьянские парни с Вологодчины, из-под Кирова, с Дона — Петухов, Иванов, Сысолятин, Семенов среди бела дня на лодке поплыли на тот берег. Это не было самоуверенностью победителей. Так диктовала военная необходимость. Все понимали: сегодня днем переправиться легче, чем будет завтра ночью. Эти четверо солдат должны были отвлечь внимание врага от другого места, где переправлялась рота. Лодка незамеченной добралась до острова на середине реки, миновала его, вышла на стремнину. Тут и заухали мины, зачастили по воде пулеметные всплески. Но скоро лодка уже ткнулась в песок, и первые метры Правобережной Украины легли под локти советских автоматчиков.

Так началась эпопея, которая потом вошла в историю под названием «Борьба за Букринский плацдарм»...

«Восточный вал», за которым, согласно военным теориям, можно было отсиживаться месяцами, треснул в первый же день. Фаши-

сты внимательно следили за продвижением советских понтонных частей, думая, что без них невозможно наладить переправу. А солдаты форсировали Днепр на одной злости, или, как говорят военные, с помощью подручных средств. И пулеметы переправили, и пушки. Фашистам с высот удобно было расстреливать плывущих. Но они все плыли, лезли на кручи, сходились в кровавых рукопашных, и метры, на которых распластывали руки убитые, были уже отвоеванными метрами.

Здесь сотни воинов стали Героями Советского Союза. Многие посмертно. Здесь в древнем селе Зарубинцы можно увидеть улицу капитана Балаяна, чей мотострелковый батальон насмерть стоял на окрестных высотах, отбивая несчетные атаки фашистов. Здесь капитан Петров оставил свои обе руки, но не потерял мужества: тяжело раненный, продолжал командовать батареей. Потом, после госпиталя, Петров повторил подвиг Маресьева — безрукий вернулся в часть, дошел до Одера, стал дважды Героем Советского Союза...

Мы отчалили, когда на катере уже лежала тень от высокого правого берега и косое солнце причудливо высвечивало могучие осоки у воды, ветряки на вершинах, крутые склоны, изрезанные глубокими заросшими балками. По правому берегу тянулись знаменитые на всю реку горы — «днепровские Жигули», «Мекка киевских художников». В густой зелени светлели хатки. Это были Бучаки — типичное украинское село. Хатки с аккуратно подрезанной соломой крыш напоминали любопытных парубков, постриженных по-старинному, под горшок. Будто они выглянули из своих густых садов да так и замерли, зачарованные.

Днепр дремотно шевелил отражения береговых круч. Вода темнела. Над далями низкого левого берега вставала желтая луна. Я глядел на ее блестящий след и все думал о страстях, отшумевших над философской неизменностью этой великой реки.

### КАНЕВСКИЕ ТОПОЛЯ

В Каневе я сошел. Спрыгнул на гулкую палубу дебаркадера и скоро остался один. Вода сверкала отраженным перламутром неба, неподвижная и густая, как желе. Выходило солнце, раскрашивая зеленым вершины гор. Огромные тополя мыли в реке узловатые корни и тихо перешептывались вершинами. Песчаная изъезженная дорога вела вдоль берега к крайним мазанкам города.

Чем интересен Канев? Каневской ГЭС — шестой ступенью Днепровского каскада электростанций. Успенским собором, построенным в 1141 году. Высокими тополями, обступившими все улицы.

Могилой великого кобзаря Тараса Шевченко и еще тем, что здесь похоронен удивительный человек и писатель — Аркадий Гайдар. Чистым воздухом знаменит Канев, тишиной, красотой гор и... гигантскими оврагами. Овраги здесь не просто «радость мальчишкам» — кошмар всего района. Им посвящаются районные, республиканские и даже всесоюзные совещания. Потому что здесь их больше, чем где-либо в Советском Союзе, и они самые агрессивные.

Секретарь райкома партии Алексей Николаевич Гора, когда я зашел к нему, в первую очередь заговорил об оврагах. Они уже отняли у района треть земель. Каждый год, как дань, оврагам отдавались десятки, а то и сотни гектаров. Теперь эта дань сокращается.

— Гидролесомелиораторы помогают, — сказал Гора и кивнул на высокого человека, сидевшего напротив.

— Пелых Константин Кириллович, — назвался он. — Директор Каневской гидролесомелиоративной станции.

Потом я никак не мог представить себе этого человека. Какого цвета у него глаза, волосы, как он улыбается, ходит? Пелых вспоминался усталым, озабоченным и серым, под цвет земли, которую он мне показывал.

Мы целый день ездили на маленьком газике от оврага к оврагу, спускались на их дно, где было душно и неуютно, с горечью глядели на повисшие над обрывом деревца с судорожно вывернутыми, напряженными корнями.

Когда-то под Каневом были сплошные леса. Но после 1861 года в них застучали топоры: новым сахарозаводчикам нужны были дрова. И сразу вдоль троп и дорог потянулись промоины. Они росли, соединялись, ветвились, превращались в страшные провалы. Беда гуляла по округе, разоряла крестьян. Овраги змеями подползали с самых неожиданных сторон и глотали пашни, сады, даже хаты. Каждый дождь и радовал мужиков, и пугал: во время дождя овраги превращались в стремительные, бурные реки мутной жижи. Особенно страшен был Хмелянский овраг — провал глубиной 70 метров. В 1903 году во время ливня он вынес столько грунта, что перегородил реку Рось. Началось наводнение.

Теперь уж, пожалуй, и не найти старожилков, помнящих о том трудном лете. Но люди рассказывают, что отчаявшиеся крестьяне решились тогда отвести русло Роси в сторону от коварного оврага. И они сделали это почти что голыми руками. А потом собрали со всей округи валуны, вымытые водой, и сложили из них пирамиду высотой больше шести метров. Говорят, будто такой высокой была в тот год вода на полях. Эта каменная пирамида и теперь стоит на окраине села Межирич оригинальным памятником первым борцам со страшным бичом сельского хозяйства — эрозией почв.

Мы долго сидели возле холодных валунов памятника и разговаривали об эрозии, причина которой почти всегда — сам человек.

«Я полагаю, что едва ли можно найти указания и едва ли кто наблюдал, чтобы в степях, не тронутых человеком, когда-либо началось образование оврага на почве с замкнутой дерном поверхностью», — с укоризной писал выдающийся русский ученый-почвовед П. А. Костычев. Увлеченные сиюминутностью нужд, люди, не задумываясь о последствиях, вырубали леса, вытаптывали луга, как попало распахивали склоны, строили дороги. Земля им казалась неизмеримо большой, а природа — всемогущей. «Не беда, — думали многие, наблюдая, как дожди смывают плодородную землю, — новая почва нарастет». Теперь мы знаем: чтобы появился новый слой плодородной почвы толщиной всего в два-три сантиметра, даже при хорошем и постоянном растительном покрове требуются многие сотни лет.

Вот как медленно зарастают раны земли. А цивилизованные и вроде бы достаточно памятливые люди долго не могли воспитать в себе сострадания к земле — единственной своей кормилице.

Не жалели землю даже здесь, под Каневом, где водная эрозия была стремительной и неотвратимой. Невелик Каневский район: от границы до границы нигде нет больше 50 километров. И на этой-то небольшой площади выросло почти четыре с половиной тысячи оврагов.

Советская власть, объявив землю всенародным достоянием, проявила о ней государственную заботу. В одном из первых обращений Совета Народных Комиссаров, подписанном В. И. Лениным, говорилось: «...наследие несчастной войны оставило громадные площади оголенных мест, которые необходимо в интересах народа немедленно засадить и засеять лесом». Ленинское отношение к земле пронизывает все соответствующие мероприятия партии и правительства. В постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии», принятом в год 50-летия Советской власти, отмечалось: «Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР рассматривают борьбу с ветровой и водной эрозией почв как одну из важнейших государственных задач в системе мер, принимаемых партией и правительством для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства в стране».

Но овраги, возникшие в давние годы, все еще продолжали расти. Тогда приняли меры, которые должны были положить конец безумству стихии. Для борьбы с оврагами объединили свои усилия люди разных специальностей — гидрологи и мелиораторы, лесозаготовители и лесники. В 1958 году здесь, в Каневе, появилась первая в стране гидролесомелиоративная станция.

И вот что вышло, когда всю заботу о земле передали в одни руки: за десять последующих лет почти полторы тысячи каневских оврагов превращено в безобидные балки, которые уже никогда не будут угрожать окрестным полям. Работники гидролесомелиоративной станции сумели посадить 5770 гектаров леса, построить 250 километров водозадерживающих и водоотводных валов, соорудить десятки бетонных водосбросов. Спасено от неминуемой гибели девять тысяч гектаров пашни. И спасение каждого из них обошлось всего лишь в 43 рубля...

Мы сидели возле каменной пирамиды — памятника и молчали. Солнце жгло, никак не могло разогреть тяжелые валуны. По шоссе проносились грузовики и автобусы. Справа, в селе Межрич, гоготали гуси. Слева была тишь. Там, неподалеку от нас, над быстрой Росью, той самой рекой, которая, как полагают, дала имя всей Руси, стояла стена тополей.

— Хотите еще глядеть овраги? — спросил Пелых.

— Пожалуй, — сказал я без особого энтузиазма. Мне казалось, что я уже достаточно на них нагляделся.

Но следующий овраг снова поразил меня. Кругом расстилалось ровное поле с самым обыкновенным, едва заметным склоном. А посреди него — такая непостижимая щель глубиной метров сорок. Задерненные края оврага старческой кожей провисали над пустотами, обрывались от собственной тяжести, рваными опметками сползали по осыпям. Но уже видно было, что осыпь эта старая: дернины вращались в нее, кое-где пробивалась трава.

— Недавно остановили?

— На все сразу рук не хватает. Дело это не легкое и не быстрое.

Да, не проста работа гидролесомелиораторов. Каждый овраг требует особого подхода. Прежде всего надо знать почву и задолго до «штурма» оврага начать готовить саженцы будущих лесов. Для песчаных почв требуются сосны, для плавней и низин — тополя. На смытые, эродированные почвы идет белая акация, на более плодородные — дуб. Кроме того, надо вырастить большое количество саженцев сопутствующих пород — липы, клена, ясеня, граба.

Но лесам нужны годы, чтобы взяться, превратиться в действительных стражей земли. И за эти годы овраг не должен вырасти ни на один метр, иначе поплывут саженцы кверху корнями в Днепр. Приходится гидролесомелиораторам на путях дождевых ручьев возводить земляные валы, укреплять их дерном. Однако большую воду валами не удержишь. Рванет поток, размочет валы — весь труд насмарку. Большой воде надо давать дорогу. Для нее сооружаются бетонные русла-спуски, водогасящие устройства, водоприемники, запруды. Если к тому же учесть, что все это делается на крутых и высоких склонах оврагов, куда каждый мешок це-

мента, каждое ведро воды приходится доставлять на руках, то станет ясно, как непросто лечить землю от ран эрозии.

Мы ездил от оврага к оврагу, через хлеба, подступавшие к самой дороге. На одной небольшой горке газик перебежал добротный мост и остановился. Насыпь внизу была укреплена каменной кладкой, как на большой реке. А под мостом не текло даже малюсенького ручейка. Лишь песчаные намывы говорили, что тут временами бешут потоки. Об их силе свидетельствовали разбросанные поодаль железобетонные балки бывшего моста. Так разрушить тяжелое сооружение может разве только взрыв или горный поток. Вот тебе и тихие дождевые ручьи!

— Почва у нас такая, вымывается из-под мостовых опор. Приходится укреплять почву, лес сажать. Вон топольки какие вымахали...

Тополь, пожалуй, самое распространенное дерево в здешних местах. Может, поэтому здесь так легко дышится. Ведь каждый взрослый тополь поглощает за лето из воздуха 44 килограмма углекислого газа — почти в три раза больше, чем липа. Может, поэтому здесь нет изнуряющей жары. Тополь — чемпион среди деревьев по снижению зноя и увлажнению воздуха. По этим своим качествам он в 9,6 раза превосходит ель и в 4,3 раза дуб.

Тополь — настоящий подарок природы и для лесозаготовителей. Он накапливает древесину в пять раз быстрее, чем, например, хвойные породы деревьев. И когда целлюлозно-бумажные предприятия сумеют совершенно освоить тополь в качестве сырья, тогда, думается, Каневский район снова привлечет внимание лесозаготовителей. Разумеется, тех, кто умеет рубить лес с разбором...

Пока я размышлял о тополях, мы подъехали к следующему оврагу. Извиваясь, словно червь, он подполз к самой дороге.

— Вот что бывает у нас, когда неправильно строят дороги, — сказал Пелых, кивнув на близкий перекресток. — Вроде отличное шоссе, полотно насыпано, как полагается, труба проложена, чтобы воде стекать. А куда? Об этом дорожники не подумали. И собранная трубой обильная вода потекла в овраг, размыва водозадерживающие валы. Теперь понадобится не меньше семи тысяч рублей. А если бы дорожники сразу построили в овраге бетонный водосброс, тогда обошлись бы двумя тысячами...

— А вот этот овраг уже никогда не будет расти, — говорил Пелых на следующей остановке.

Мы вышли из машины, спустились по длинному бетонному лотку на дно. Здесь был лес, зеленела трава и уже чувствовалась влажная прохлада.

— Глядишь, скоро и грибы появятся, — сказал я.

— Уже собирают.

— Может, и поохотиться удастся?

— Где лес, там и зверь.

— И будете тогда вы гидролесомелиоративно-охотничьей станцией,— пошутил я.— Ведь когда все овраги зарастут лесом и вам нечего будет делать, поневоле придется заняться охотой.

— Ошибаетесь,— серьезно сказал Пелых.— Противоэрозийная служба будет всегда. На наших полях чуть недоглядишь, и поползут овраги. Вот я вам покажу...

Мы выбрались наверх и пошли узкой полевой тропкой. Вдоль тропы, точно посередине, змеилась щель глубиной в ладонь.

— Вот как начинается эрозия. Весной здесь все было перепахано. А потом люди протоптали тропу, и вода сразу промыла себе сток. Оставь эту канавку — и через два года будет овраг...

Тропа привела к шоссе, где добродушно урчал наш усталый пропыленный газик. Солнце за степью тонуло в мутном мареве горизонта. Дорога, перечеркнутая теньями от высоких тополей, напоминала переход «зебра».

Тополя стояли вдоль кюветов двумя стройными шеренгами, и мне подумалось, что они тут как солдаты, стоят заслоном на пути бед. Крепко стоят. И только все шепчутся, что солдатам в строю вроде бы не полагается. Этот непрерывный мягкий шепоток радовал и успокаивал.

## О МОРЯХ, КАПИТАНАХ И ТРАДИЦИЯХ

Целый день я бродил по тихим дорожкам Тарасовой горы, карабкался по крутым склонам с редкими березками, повесившими корни над песчаным обрывом, забредал в заросли лип, поднимался, считая ступеньки, по крутой деревянной лестнице. Насчитал больше 600 и сбился, залюбовался на заднепровские дали, проглядывавшие сквозь листву. А потом долго сидел наверху возле высокого гранитного постамента с бронзовым задумчивым Тарасом Шевченко, вспоминал его стихи:

Щоб лани широкополі  
і Дніпро, і кручі  
Було видно, було чути...

Меня ничто не торопило. Пароход, которым я собирался плыть, приехал только ночью. А пристань была совсем рядом, под горой.

Тишина лежала на горах неестественная, словно в запертой на ночь школе. Солнце садилось за соседними холмами. Тени тяжелели меж деревьев. И только небо еще сверкало высокими облаками.

В глухой сумеречной тишине я почти ощупью спускался по лестнице. Сухо скрипели деревянные ступеньки. Луна поднималась



над низким левым берегом, багровая и огромная, как далекое зарево, отражаясь в Днепре слабой люминесцирующей полосой. И мне думалось: ради одного вот такого тихого вечера стоит проехать тысячу километров. Это то, что навсегда входит в память и становится одной из вех, по которым измеряется жизнь.

Потом я тихо сидел на дебаркадере, облюбовав ящик возле лебедки, и дремал в этой теплой ночи, как в спальном мешке...

Очнулся я от толчка. У пристани стоял пароход, расцвеченный, словно ночной город.

Люблю ночные пароходы. Тихо, без радиохрипов, они выныривают из пространства, нежно прижимаются к сонным пристаням.

И снова уходят в темень, отдуваясь паром.

На нижней палубе среди корзин и мешков дремлют колхозники. Чумазные машинисты выходят из теплых шорохов машинного отделения, перешагивают через корзины, припадают губами к водяным фонтанчикам и снова исчезают в таинственных глубинах трюма. В коридорах синие лампочки. Из-под опущенных жалюзи тянет пододеяльным теплом. Там бродят сны. А наверху всегда бродит кто-нибудь из тех, у кого нет сна, ходит, неприкаянный, по мокрой от росы палубе, задумчиво курит, прижавшись к холодным стойкам, и смотрит, смотрит на редкие береговые огоньки...

Устроился я прямо на палубной скамье. И проспал все: и рассвет, и даже город Черкассы. Лишь успел увидеть издали огромные городские пляжи и песчаные отмели, а над ними на горе золотоконный ряд домов, уходящих за пологий склон.

Через час пароход выбрался из лабиринта отмелей и вышел в ширь Кременчугского моря, раздвинувшего берега до горизонта.

Здесь, на дне этого моря, остались валы древнего города Воиня, стоявшего некогда форпостом у южных пределов Руси.

Воиня был первым русским городом-портом с хорошо защищенной гаванью. Вокруг гавани шел семиметровый вал. На нем стояла крепостная стена из бревенчатых клетей шириной два с половиной метра. В клетях жили дружинники. Выход из гавани в реку Сулу охраняли сторожевые башни. Справа от входа в гавань находилась воротная башня. За ней — ров, за рвом — посад. Там жили ремесленники. Люди ловили рыбу — ее тогда много было в реках, — охотились на оленей, лосей, кабанов, косуль, на глухарей и уток. Крестьянствовали в поле, разводили домашний скот. И нередко прятались за крепостные стены, отбивали нападения кочевников.

Часто входили в гавань Воиня купеческие караваны: Русь вела оживленную торговлю с Византией. А иногда здесь сосредоточивались военные суда перед очередным дальним морским походом. Русичи уже в то время были отличными мореходами.

Обычно родословную русского флота мы ведем с Петровского ботика. Но еще в IX веке, как свидетельствуют византийские и

арабские хроники, русские суда отличались высокими мореходными качествами. Английский историк Ф. Джен писал, что русский флот по праву может считаться более древним, чем британский, что за сто лет до основания британского флота Альфреда Великого, в IX веке, русские участвовали в ожесточенных морских сражениях и считались лучшими моряками своего времени.

Это лишний раз подтвердили раскопки города-порта Воиня, проведенные несколько лет назад, перед наполнением Кременчугского водохранилища.

Вот в какую древность уходят наши морские традиции, и в первую очередь традиции днепровских речников...

Где-то в виду Градижского мыса, примерно над тем местом, где находился некогда Воинь, я разговорился об этом древнем городе-порте с одним важным пожилым матросом.

— Постой, не оттоль ли пошли наши одесситы? — неожиданно сказал он.

— Одесса-то вон где!

— А у нас, брат, своя есть. Секирна да еще Келеберда. Их так все и зовут — «днепровская Одесса» или «днепровский Севастополь». Секирна за Черкассами осталась, а Келеберда скоро будет. Испокон оттуда шкипера днепровские выходят, и бакенщики, и капитаны. Много их, келебердянских да секирянских, по Днепру плавают.

Так неожиданно обозначился волнующий «мостик» от мореплавателей Воиня к днепровским капитанам. По нему нельзя было не пройти...

Келеберда встретила шумной толпой на железной барже-пристани. Пароход развернулся, осторожно приблизился к барже и начал швартоваться.

В Келеберде для швартовки капитанам требуется немалое терпение. На пристань — железную баржу, прижатую к скалистому берегу, — встречать пароходы выходят местные пенсионеры-речники, соскучившиеся по флотской терминологии. И не дай бог, если судно с ходу не притрется плотно к барже. Тогда на бедного капитана обрушивается лавина советов.

— Задний, задний! — кричат с пристани.

— Давай конец!

— Трави, чего ждешь?!

— Без вас разберемся, — огрызается капитан, теряя терпение.

Но вот брошены мостки, и я спокойно ступил на помятую горячую палубу баржи.

Через несколько минут начальник пристани Степан Федорович Беленький, ухая по палубе своей ногой-деревашкой, подошел к рынде и трижды дернул за веревку. Пароход зашипел, запыхтел, как паровоз, ударил плечами по воде и отвалил. И я остался в

окружении нетерпеливых пенсионеров. Самый бойкий из них, маленький и сухощавый Евдоким Марченко (имя я узнал, разумеется, после), открыл было рот для первого вопроса, который, как мне известно по опыту общения с пенсионерами, мог положить начало бесконечным расспросам. Поэтому я быстренько представился, в двух словах рассказал, откуда и куда держу путь. И, не давая старикам опомниться, подкинул свой вопрос.

— А скажите, уважаемые, откуда взялось это самое название — Келеберда и что оно собой означает?

— Жил тут такой атаман — Бердой звали. Однажды напали на него то ли турки, то ли татары. А кто-то из казаков увидел и крикнул: «Коли, Берда!» Вот и пошло...

— Та ви, — возразил другой пенсионер, — просто жили туточки казаки, и были у них кошевые, один Кели, другой Берда.

— И вовсе неправда, — вмешался третий. — Берда — это скала так называлась, а на ней был пост запорожцев под командой казака Келе. Скала Келе — Келеберда.

Заспорили старики. А в споре каждый нараспашку, только слушай да напоминай. И за то время, пока пенсионеры блистали эрудицией, я узнал немало полубылей, полулегенд о селе со столь странным, почти татарским названием.

...Рассказывают, что в 1775 году или что-то около, после разгona Запорожской сечи, Екатерина II пожелала путешествовать по Днепру. Будто плыла она на раскрашенных судах под дорогими парусами в окружении крепких гребцов, усатых гренадеров, отборных приближенных, призванных услаждать дамские капризы «мудрыми» советами и преданными взглядами. Как и сейчас, солнце сияло над Днепром, белели песчаные отмели, теплый ветерок гнал с берегов немислимые травяные настои.

«Ах, зефир!» — будто бы вздыхала царица и мановениями митаршей ручки щедро раздавала своим верным слугам зеленые берега со всеми пляжами, лесами, ароматами, а заодно и вольными селами. И утомилась от этого труда, и задремала. Напрасно приближенные пялились на уходящие берега: царица спала, и никто не смел нарушить ее покой.

Сон царицы будто бы и спас Келеберду от крепостничества. Кругом села стонали от барщины, а это было как остров среди моря рабства...

В таком вот «романтическом» свете видят келебердянцы свое прошлое. Хотя думается, что их село не пришлось по вкусу помещикам лишь потому, что находилось на камнях и мало было от него проку. Недаром здешние жители никогда всерьез не занимались сельским хозяйством, а только отхожими промыслами. И главным их кормильцем был Днепр.

На десятки километров вверх и вниз от Келеберды наставила природа на реке каменных преград. Словно преддверие к тем большим порогам, через которые не было пути судам. Узкие, скалистые коридоры у Троицкого урочища, у Мишурино, у Келеберды, Чиколовки и Редутов требовали от шкиперов и рулевых немалого мастерства. И все-таки Днепр брал свое: пять-шесть аварий в навигацию под одной только Келебердой — такова была неизменная дань своенравной реке. Без опытных лоцманов и штурманов было никак не обойтись. А «опытный» в дореволюционном понимании, не знавшем специальных школ, часто означало лишь преимущество. Вот и специализировались целые села на водных профессиях. На среднем Днепре помимо Келеберды это были Секирна и еще Табурище.

Бывало, всю жизнь бегали в матросах, и редко кому выпадало счастье встать к рулю. Рулевой — это была высшая мечта любого келебердянца. А о шкиперской должности даже не мечтали. Шкиперами становились единицы. Потому что какой хозяин мог доверить баржу или пароход «неопытному» речнику со стажем всего лишь в 30—40 лет...

После революции хозяева, как известно, исчезли, а пароходы остались, по-прежнему ходили через скалистые коридоры. В 1932 году за плотиной Днепрогэса поднялось водохранилище имени В. И. Ленина, затопив самые опасные пороги Днепра. Судоходство на реке стало особенно интенсивным. Для келебердянцев открылись пути к рулю и на капитанский мостик. Но оставалась инерция привычки. «Как я рискну вести судно, — рассуждал иной «ученик», у которого дома детей «семеро по лавкам», — ведь мой дед встал к рулю, лишь когда дожил до седой бороды». Но находились смельчаки. С каждым годом их становилось больше. Баржи и пароходы, ведомые «молодежью», почему-то не садились на мель, не налетали на камни. И число «положенных» аварий не увеличивалось.

Это было для келебердянцев как новая революция. Люди наконец-то стали освобождаться от страха перед рекой...

— Что мы стоим? — спохватился тот же Евдоким Марченко. — Пойдем на берег.

На берегу оказалось не более уютно, чем на барже. Зато тут лежал у воды огромный валун. На его покатых, прогретых солнцем боках и расселись мои пенсионеры.

— А ведь скучно, поди, на реке? Не то что на море?..

Видно, я перестарался. Потому что пенсионеры все разом уставились на меня и заговорили все разом, сердито и обиженно.

— На реке не заскучаешь. Заскучал — тут тебе и мель.

— На реке соблюдать надо: плывешь вниз — держись стремнины, вверх — жмись к берегу.

— А у берега думай, чтоб не мелко было. На мелководье трудней плыть...

...Однажды этот вопрос: как экономичнее и безопаснее плыть по реке? — задали электронной машине. И она ответила примерно так же, как мои келебердянцы. Электроника подтвердила: плыть по простой формуле — от бакена к бакену — на реке не получается. И не только потому, что течения вынуждают судоводителей брать своего рода «упреждения», доворачивать руль еще до выхода на створы. Чтобы успеть вовремя в порт назначения и не пережечь горячее, речникам приходится учитывать многое: особенности течения реки, которое быстрее на середине, глубину, ибо на малых глубинах увеличивается сопротивление движению, а кроме того, объем и конфигурацию подводной части судна. Приходится выбирать наиболее выгодную скорость, потому что на реке нередко справедливой оказывается поговорка «тише едешь — дальше будешь». Известно ведь, что сопротивление воды движению судна увеличивается не пропорционально скорости: если скорость увеличивается вдвое, сопротивление повышается в 8 раз, скорость — в 3 раза, а сопротивление — в 27 раз... В конце концов наступает момент, когда все попытки увеличить скорость приводят лишь к увеличению буруна за кормой.

Ученые проделали огромную работу, чтобы свести все эти «если» к единому уравнению. Были составлены таблицы, помогавшие капитану найти наиболее выгодную трассу. Был создан особый прибор — этакий «автомат-судоводитель», который учитывал все данные о реке и судне и сам выбирал оптимальную скорость. Этот автомат впервые применили здесь, на Днепре. Сперва он насторожил судоводителей, начав снижать скорость судов. Но потом все убедились в достоинствах кибернетики: снизив среднюю скорость всего на три процента, автомат сжег топлива на треть меньше, чем самый опытный капитан.

Вот как хитро повернулось на Днепре это слово «кибернетика», придуманное Платоном для определения мастерства бесстрашных кормчих древности...

— На реке на бакены не больно надейся, — не унимались старики. — Бакен ведь и погаснуть может.

— Это теперь кругом электричество да автоматика. И бакенщики, как пассажиры, на моторках гуляют. А бывало, все на веслах. После войны, помню, и стекол не было — красную бумагу в бакены вставляли. Такой огонек только и разглядишь, как на него наткнешься.

— Вон, у Федор Василича отец потонул.

Федор Васильевич Новак, с грубым мужицким лицом, спокойно покуривал, сидя на самой верхушке камня.

— Потонул, — подтвердил он. — В тридцать пятом. Осенью, в

ледоход, отец с братом поплыли бакены и вехи сымать. А мороз был. Лодка обмерзла и перевернулась. Брата спасли — чурак леду на пристань выволокли. А батька и по сегодня плавает...

— А у Бовбаса отец прямо на мостике помер. От старости. Всю жизнь плавал Ефрем Лукич, до рулевого доплавался. А пенсий тогда не было, не теперь. Вот и стоял за рулем, пока не упал. Верно, Федор Ефремыч?

70-летний сын покойного рулевого Ефрема быстро кивнул головой. У него тоже вся жизнь прошла на судах. Еще мальчишкой-посудником начал. Был и рулевым, и лоцманом, и капитаном. А теперь и сын Федора, помощник капитана Антон Бовбас, подбирается к отцовскому стажу, тоже чуть ли не сорок лет на судах.

Мы почтительно помолчали. А потом из-за прибрежных камней, из-за колючих кустов послышался ликующий мальчишечий крик:

— Поймал!

Он явился на вершукке камня, воинственно потрясая над головой крупной щукой. Чтобы быть точным, скажу, что щука была того размера, какой показывают приятелям рыбаки после удачной рыбалки.

— Где ты ее взял?

— Руками поймал.

Я не поверил. В Москве такой улов, несомненно, стал бы одной из тех легенд, которые только и питают рыбацкую страсть москвичей. Но мальчишку поддержали старики.

— На мелководьях еще и не таких берут. Вот я как-то выволокл!..

— Это что! А вот у меня однажды сорвалась!..

И поехало-пошло. Ну точно то же самое, что можно услышать возле любого московского магазина «Рыболов-спортсмен».

Подшел человек в капитанской фуражке — местный житель, а ныне капитан-наставник Кременчугского порта Василий Павлович Самойленко.

— Пойдемте, село покажу, — предложил он.

И мы пошли в гору по деревянной лестнице.

Село оказалось небольшим, и смотреть в нем было вроде нечего. Разве что высоченные створные знаки, торчавшие, как местная достопримечательность, прямо посреди улицы. И тем не менее мы всю дорогу крутили головами. Узкие улочки, уходившие вправо и влево, упирались в водную гладь. То и дело за белыми хатками и густыми садами мелькал в просветах далекий горизонт. Село омывалось с трех сторон, возвышалось над водной равниной, над низкими отмелями, напоминая корабль на вечном якоре, пригнутый кормой к берегу. Старушки в калитках «по-капитански», из-под руки, оглядывали нас и покачивали головами.

— Село когда-то было большое. Вон там и там дома стояли,— говорил Самойленко, показывая вниз, где теперь расстилались заливы.— Семь церквей было, 1600 дворов. После войны ничего не осталось. Едва отстраиваться начали, как пришло море, затопило плавни, и люди разъехались кто куда. Теперь только триста дворов на горе, что не попали в затопзону. Часть жителей — рыбаки, но в основном живут в селе пенсионеры-речники.

— Значит, отживает село?

— Гляньте-ка налево.— Самойленко остановился в проулке и показал в просвет на другой берег, за заливом, изрешеченный силуэтами какой-то большой стройки.— Есть Комсомольск-на-Амуре, а это будет наш Комсомольск, днепровский, рудный. Большой город строится. Раскинёт он окраины и дотянется до нас. Это уж непременно...

И я понял: традиции не умрут. Они войдут в новую жизнь неизменной наследственностью. Как входят в детей приметы и привычки отцов.

Бесплодные каменистые степи, определившие некогда привязанность келебердянцев к Днепру, оказались кладовой железных руд. Здесь их сотни миллионов тонн. Руды «Кременчугской магнитной аномалии» не уступают по качеству криворожским. Потому что это руды того же бассейна, только другого его конца.

И раскинулись возле Келеберды открытые рудники, и взметнулись новостройки обогатительных фабрик, жилых кварталов нового города. А Днепр лежит рядом, поднятый спинами плотин, медленно течет туда, где в какой-нибудь сотне километров подпирают небо коричневые монументы домен Днепродзержинска.

Вот и не придется ломать традицию. Как и прежде, будут келебердянцы водить суда-рудовозы по своей водной дороге. Будут обслуживать речной конвейер, так счастливо проложенный природой через самую сердцевину этого огромного металлургического края.

## ДНЕПРОВСКАЯ ДУГА

— Где здесь Пушкин купался?

Никто этого не знал.

Я ходил вдоль берега по горячему песку, черпал его ладонями, смотрел, как он течет меж пальцев, и удивлялся: хоть сейчас в песочные часы.

— Так где же Пушкин купался?

Он приезжал в Кременчуг в июне 1824 года. Известно, что было это вечером, когда фонари отражались в Днепре, что Александр Сергеевич захотел купаться и долго нырял в теплой воде.

В Кременчуге я тоже первым делом полез в воду. А потом лег на песок и стал глядеть в небо. И пытался представить, о чем думал поэт после того купания...

О чем думал поэт? Об извечной несправедливости царей, по чьей милости он, видевший дальше других, стал «перекати-полем»? Или о нас, потомках? Ибо на то и поэт, чтобы каждодневно носить в себе не утихающую боль о грядущем.

Пушкин верил в лучшее будущее. Иначе его произведения не были бы так оптимистичны. Но если бы знал поэт, какую дремучую, средневековую жестокость родит будущий двадцатый век!

Фашисты пришли к берегам Днепра ровнехонько семь веков спустя после Батыевых орд. Они были так же самонадеянны и беспощадны, хотя шли не с варварского Востока, а с цивилизованного Запада.

Нас не удивишь рассказами о разрушениях. Но Кременчугу выпала доля немногих. Город был превращен в концлагерь, а потом в сплошные развалины. 97 процентов зданий стали даже не коробками — пылью.

В Кременчуге фашисты расстреляли и замучили 97 тысяч человек. Да 10 тысяч угнали в Германию. Жителей до войны столько не было, сколько здесь погибло...

До чего же болезненна человеческая душа! Ее раны заживают даже медленнее, чем раны земли. Вот был город Кременчуг. Потом его не стало. И вот он снова стоит, шире прежнего, красивее прежнего. И людей в нем в два раза больше, чем до войны. Бегают по улицам мальчишки, для которых город всегда был таким, весело играют возле памятников, поставленных для того, чтобы люди не забывали грустное. Новая жизнь спешит в будущее, светлое и счастливое, сложенное из надежд. Новая жизнь выбирает из калейдоскопа прошлого только беспечальное, только радостные искорки победного. А те, для которых прошлое когда-то было настоящим, все еще видят в беспокойных снах черные дымы над Днепром, все ходят к тем местам, что не обозначены ни камнем, ни крестом, а только смутными воспоминаниями, к местам, где некогда пролилась их кровь, где умер друг, где сгорел дом.

Сколько таких мест в людской памяти! Все наши новые города, все заново построенные заводы, мосты, домны стоят «на крови».

И в Кременчуге так. В памяти людей еще живы картины сплошных руин, а уже стоит новый город, новые улицы сверкают окнами, новые тополя вымахали в рост, новые заводы выстолбили горизонты частокколами труб, кранов, металлоконструкций. В Кременчуге сейчас выпускаются вагоны, дорожные, сельскохозяйственные и всякие другие машины, электрокраны, строительные материалы. Работают автомобильный и нефтеперерабатывающий



заводы. И мощная ГЭС встала по соседству. И уже выдает руду крупный горнообогатительный комбинат...

Удивление перед неистовой силой жизни, самообновляющейся, как сама природа, не покидало меня все дни, пока я путешествовал через города и поселки крутой излучины Днепра. Кременчуг со всей его промышленностью был лишь окраиной этого металлургического «мегалополиса».

Кременчугские заводы еще не меняют заповедного вида Днепра — они где-то по другую сторону города. На реке здесь господствуют лодки, челночат меж низкими островами в сплошных ольшаниках, стоят под крутой набережной такими длинными и плотными рядами, что невольно думается: человеку без лодки здесь, должно быть, так же трудно, как холостяку в какой-нибудь текстильной Кинешме.

Для лодок вдоль набережной установлены ряды металлических понтонов, на них — специальные будочки-кладовочки. Разномастные и разноцветные лодки и будки создают впечатление радостной ярмарочной толчеи.

Чуть ниже по течению, где очередное на Днестре Днепродзержинское водохранилище начинает заливать острова, вымахивают из-за бугров, подступают к воде краны новостроек, гигантские решетки металлоконструкций, ажурные трансмиссии землепогрузчиков, похожие издали на фермы стартовых ракетных площадок. Еще немного пути — и черно-коричневыми утесами вздымаются на берегах дымящиеся шеренги домен и кауперов. Широкая полоса воды сверкающей дорогой входит в удивительный по своим природным богатствам край металла.

Когда-то землепашцы не очень жаловали эти места: на каменистых почвах какой урожай? Но пришло время, и все увидели: под ногами клад. Гранитный кряж, изогнувший Днепр, рассыпал на своих отрогах несметные сокровища.

Судьба земли иногда напоминает людские судьбы. Говорят: неспособный, не умеет того-этого. Но сложатся иные условия, и человек раскрывается, на удивление всем, новыми неожиданными способностями.

Еще недавно считалось, что на Украине нет нефти. А теперь добывают ее и на западе и на востоке республики. Никому в голову не приходило, что Украина может оказаться золотоносной. Но первые же разведочные скважины, заложенные здесь, в Приднепровье, показали промышленное содержание золота в недрах. А железорудные месторождения уже не ограничиваются районом Кривого Рога. Выяснилось, что они раскиданы по всей днепровской излучине. А вместе с ними — месторождения бурого угля, марганца, бокситов, даже титана.

И все-то здесь близко. От Днепродзержинска до Днепропет-

ровска теплоход на подводных крыльях идет по расписанию меньше часа. От Днепропетровска до Запорожья — час. От Запорожья до Никополя — от силы полтора часа. Это ли расстояния? В Москве многие от дома до работы добираются за такое же время.

Много городов стоит на днепровской дуге. Главный из них — Днепропетровск.

Он и основывался как главный. В 1784 году Екатерина II, измученная тоской по бессмертию, возмечтала по примеру Петра I построить еще одну столицу, назвав ее своим именем — Екатеринослав. Это должен был быть всем городам город — 20 верст в длину, 15 в ширину, с улицами, по которым могла бы прошагать шеренга в 100 солдат, локоть к локтю. Царица собственноручно заложила первый камень Преображенского собора, который должен был поднять шпили на 139-метровую высоту и затмить по размерам и красоте даже собор святого Петра в Риме.

Ветер гулял по голым холмам. Стояло войско, преданно глядя на царское собственноручное соизволение. Горбились придворные и гости, пряча скептические улыбки. «Матушка-царица заложила первый камень нового города; я — второй и последний...» — ехидно писал присутствовавший на церемонии австрийский император Иосиф II.

Но город встал. Хотя вначале и небольшой. И пришла к нему слава главного города Нижнего Поднепровья. Но заслуга эта принадлежит не царям — рабочему люду.

Екатерина хотела начать строительство города с крупнейшего в Европе храма. Рабочие начали с крупнейшего в Европе моста. Ажурный, двухъярусный, он перешагнул через Днепр ровно век спустя после основания города — в 1884 году. Мост — это, как его тогда называли, чудо русского инженерного искусства — связал единой железнодорожной трассой криворожскую руду и донецкий уголь.

И началось. На пересечении водной и железной магистралей один за другим строятся заводы. Быстро растет численность населения.

У городов днепровской излучины одна судьба. Они, как нерасстающиеся близнецы-братья, возникли одновременно, бедовали одинаково, вместе переживали «металлургическую лихорадку» конца прошлого века. Одни и те же враги разоряли их — австро-германцы, петлюровцы, григорьевцы, махновцы, деникинцы. Вместе городá начинали новую жизнь, меняя старые названия на более достойные: Каменское стало Днепродзержинском, Екатеринослав — Днепропетровском, Александровск — Запорожьем. Только Никополь не последовал примеру городов-братьев. Потому что его почти ироническое в прошлом название — «город Победы» вполне соответствовало новой героической жизни.

Потом была фашистская оккупация, почти уничтожившая города, но не покорившая их. Символом непокоренности стоит у входа на металлургический завод в Днепродзержинске стальной слиток из плавки, выданной на двадцать шестой день после освобождения города. А ведь фашистам за два года оккупации не удалось выплавить здесь ни тонны стали.

И задымили домы. И зашумели новые заводы, новые турбины на восстановленном Днепрогэсе, на построенных миллионнокиловаттных тепловых электростанциях. И на развалинах старых улиц выросли новые города. Теперь только в Днепропетровске и Запорожье свыше полутора миллионов жителей. И когда мы говорим, что Украина вырабатывает почти половину общесоюзного чугуна и стали, металлургического оборудования и готового проката, то в значительной степени имеем в виду продукцию этих городов днепровской излучины...

Три дня в Днепропетровске я не мог оторваться от металлургии. Ходил к Днепру, знакомился с портом — крупнейшим на реке, его сплошной механизацией, перерабатывающей горы руды и угля, ездил к домам, дымящимся, как горные вершины перед непогодой. А однажды отправился на окраину города, к заводу металлургического оборудования. Ходил там по широким громыхающим цехам меж огромных железных одеял в перламутровосиней окалине, пробирался сквозь искровые фейерверки, уклоняясь от плывущих над головой ажурных стальных конструкций. И удивлялся рассказам директора завода (с совсем не подходящей для железного царства фамилией — Лебедь) о том, как в этих сумрачных цехах рождались киевские мосты, ленинградская телебашня, стальные каркасы Московского университета, домы Бхилаи.

И как-то в обеденную минуту, когда неестественная тишина вползла на стальные балки, под косым лучом солнца, перечеркнувшим цех, увидел я фантастический цветок. Это было как видение: казалось, цветок вырос прямо из железного листа, засверкал всеми своими лепестками, разрушая сизо-рыжую монотонность цеха. Я ринулся к этому чуду и увидел незаметную издали черную лаковую коробочку. Цветок лежал на ее крышке, обыкновенный, нарисованный, но по-прежнему удивительно яркий.

— Нравится? — спросил сварщик, допивавший молоко из бутылки.

— Откуда это?

— Из Петриковки прислали...

Прежде я немало слышал об этой «украинской Хохломе». Сколько существует село Петриковка — два века, — столько известно художественное мастерство местных крестьян. Самодельными красками они расписывали снаружи стены своих хат так, будто

хотели замаскировать их под цветущие вокруг сады. Яркие орнаменты из немислимых трав, цветов, ягод, фантастических птиц украшали домашние сундуки и печки. Немало петриковских узоров сохранилось на старинных казацких пороховницах...

— Значит, живет мастерство? — спросил я, поглаживая чуть выпуклые прожилки и травинки, яркие, словно пронизанные солнцем.

— У них там целая фабрика. Да вы поезжайте туда. Всего полтора часа автобусом.

И я поехал. На другой же день. Через одно нескончаемое украинское село. Потом узнал, что это разные села, слившиеся околицами, что тут это нередко: можно ехать десятки километров, и все будет дома да дома с белыми стенами в кипени садов, со скамеечками возле калиток, с цветами у дороги.

Петриковка походила на иной районный город. Я прошел широкой улицей к ставку, разлившемуся перед плотиной, и на другом берегу, за сырой луговиной, увидел на взгорье белый дом, сказочно разрисованный огромными яркими цветами. Это и была фабрика знаменитой петриковской росписи.

Главный художник фабрики Федор Савич Панко показал мне весь процесс производства, начиная от прозаической кучи сосновых опилок. В первом цехе их смешивали с крахмалом, клали под пресс. Вскидывалось облачко пара, и через минуту из пресса выпадала легкая серенькая коробочка. Ее натирали чем-то коричневым, потом красили в черный цвет. Заготовки переносили в большую светлую комнату, где за столами сидели молоденькие девушки и тоненькими кисточками рисовали на шкатулках замысловатые цветочки, листочки, травинки.

Федор Савич протянул мне одну кисточку, дал потрогать зыбкую мякоть волосков.

— Кошек стрижем, — сказал он. — На севере кисти делают из беличьей шерсти, а на Украине где взять белок? Вот в старину люди и присмотрели, что на грудке у кошек шерсть не хуже беличьей. Так и идет эта традиция.

Мне показалось странным замечание о традиции там, где средний возраст художниц, наверное, не превышал двадцати лет. Так укоренилось в нашем сознании убеждение, что народные промыслы — это дело задумчивых бабуль, хранительниц древних навыков.

— Учим молодежь, — понимающе усмехнулся Панко, видимо не впервые встречавшийся с таким недоумением. — Изучаем все, что прежде создано народом, бережем традиции. А бабуль, которые бы помнили старое, дореволюционное, где теперь взять? Семидесятилетние, и те отмахиваются, говорят — выросли при Советской власти...

Вот как хорошо уживаются рядом металлургические гиганты и тихие фабрички! Во всех краях Советского Союза, во многих странах мира можно встретить машины и сооружения, изготовленные из металла, добытого на «днепровской дуге», выплавленного и обработанного здесь. Повсюду встречается и петриковская роспись. Она украшает стены многих зданий Москвы, Ленинграда, Киева, Львова. Музеи Канады, Чехословакии, Франции, Югославии, Бельгии, Индии, Америки считают за честь иметь в своих экспозициях работы петриковцев...



## ЧАСТЬ IV

*Дела великие требуют рассуждения  
доброе, часто без рассуждения такие  
в делах ошибки бывают, коих в целый  
век исправить не можно.*

*«Сборник мудрых мыслей»,*

*1776 г.*

### ОСЕННИЙ РЕЙС

Чтобы испытать ностальгию, не обязательно уезжать за моря. Меня она настигла в тот момент, когда на вокзале я посмотрел расписание и узнал, что до Москвы всего одна ночь поездом. Не выдержал, взял билет и уехал, обманывая себя, что лишь на денек-два. Но дома закурили заботы, понесли. Не успел я опомниться, как кончилось лето и липы в Измайлове выстлали желтой листвою парковые дорожки.

Но в один из дней, когда серое небо залило асфальт холодными лужами, ко мне пришло это. Я не знаю названия чувству, которое настигает путешественников и моряков, засидевшихся на семейном диване. Оно пришло, не называясь, и я, помучившись с неделю от нестерпимой тоски, решительно выволок из-под кровати успевший запылиться рюкзак. И через день очутился в Киеве.

Был конец октября. На Крещатике топорщились совсем голые липы, каштаны полыхали золотом увядания, а тополя и акации еще держались, всюю зеленели, будто летом. На Владимирской горке детишки ловили падающие листья. Пенсионеры бродили по дорожкам с охапками кленового золота.

С Владимирской горки сквозь поредевшую листву просматривался весь Днепр, холодный и мутный.

Памятуя летнюю толкотню возле билетных касс, я отправился прямо в речное управление, чтобы выпросить хороший билет на пароход. (Сидит в нас этакая кондовая вера в силу знакомства. Все думается: если по знакомству, значит, лучше.) И я достал хороший билет. А потом оказалось, что пароход полупустой.

В электрических отблесках киевских набережных я восторженно бежал по гулкому железу пустынной верхней палубы, грохотавшей репродукторами невесть для кого. Гордый за цивилизацию, оглядывал серую речную гладь и вспоминал рассказы об успехах днепровских речников, услышанные в управлении.

Здесь, на реке, только что произошло нечто вроде потрясения основ. Его, как это всегда бывает, подготовили соответствующие условия. Разлился Днепр перед плотинами, превратился в цепочку водохранилищ, создалась новая судоходная обстановка, и сразу же «раскрепостилась» мысль капитанов, стиснутая прежде заботами о мелях, перекатах, крутых поворотах в тесных берегах. И удивились речники сами себе: чего это мы баржи водим толкачами? Почему бы не превратить в толкачи самоходные баржи и не пустить по большой воде этакие речные поезда? Мысль была настолько проста, что в нее вначале не поверили. Принялись за расчеты: потеря в скорости получилась всего лишь 15-процентная, а выгода — двойная и тройная. Рискнули перевести часть флота на работу по-новому. И за три первых года получили два с половиной миллиона рублей прибыли.

О днепровцах заговорили на всех бассейнах. Толкачи-самоходки поплыли по большинству крупных рек страны.

Поклонилась днепровцам и заграница: комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии попросил поделиться опытом. Речники оказались покладистыми, и скоро «речные поезда» появились за рубежом.

Как было не вспомнить известную фразу, что все гениальное — просто!..

Восторгов моих хватило только до темноты. Когда исчезли вдаль киевские огни и берега утонули в кромешной темени, на палубе стало неуютно. Не было ни лунной дорожки на воде, ни звезд в небе. Только помигивали одинокие бакены, слабые огоньки которых не прогоняли, а даже усиливали чувство безнадежности движения сквозь ночь. Я начинал понимать давних предков, предпочитавших прятаться, затаиваться в темноте. И не мог понять спокойствия рулевого, доверившегося бакенной нити Ариадны.

Иногда возникала вдаль слабо освещенная пристань и несколько светлых окошек за ней — деревня. Они вызывали недоумение: как и чем живут люди в этой холодной пустоте?

Зато города и большие поселки, заливающие огнем склоны, казались прямо оазисами тепла и жизни. Тогда вспоминался городской уют, и я готов был согласиться с теми, кто бесцеремонен с природой, казавшейся мне в такие минуты безразличной и безжалостной, готовой окунуть человека в холодную бездну одиночества.

«Мы стали людьми именно потому, что не приспособивались к природе, а покоряли ее, заставляли служить себе огонь, воду, ветер, даже молнию,— думал я, стоя на продуваемой палубе.— Человеку лучше всего в городах, где все искусственное. Летом мы этого не замечаем, разлетаясь, как пчелы, по своим дачкам. Но когда природа поворачивается другим боком, мы, как пчелы же,

сбиваемся в кучу. Остаться наедине с посуровевшей природой — значит погибнуть от холода и страха...»

Утром, отогрившись и отоспавшись, я понял свое вчерашнее заблуждение. Да, природа может убить одиночку, но она не враг нам. Как не может быть врагом непроходимый лес, невспаханная земля или морские волны. Природа что камень, который становится опорой для ноги, а иногда падает на голову. Все зависит от того, как его человек использует...

В следующий вечер я заставил себя долго ходить по пустой палубе. Постепенно привык к темноте, к огонькам, мерцавшим вдали, к холодному шуму волн. И под конец мне стало нравиться палубное одиночество.

«Оказывается, все дело в привычке. Развел вчера антими-нии!» — сказал я сам себе и пошел в каюту довольный и собой, и человечеством.

А пароход все шлепал неторопливо. Проплывали мимо знакомые по лету места. Я выходил на охолодавшие причалы, кутаясь в шарф. На причалах было тихо и грустно. Ветер набивал в углы летний мусор.

Над Днепром висели тяжелые тучи. Время от времени они опускали белесую занавесь дождя, затягивали горизонт серой мглой, прогоняли людей с палубы. Но знобко было не за себя, не за пассажиров, грустневших в такие минуты, — за тех людей, что работали на полях, покато спадавших к реке. Тогда не покидали мысли о природе, так несправедливо распределившей дожди: они редки летом, когда больше всего нужны, и часты осенью, когда от них только неудобства. И вспоминались летние встречи с метеорологами, пытающимися исправить эту «оплошность» природы.

Дожди. Пожалуй, ни к какому другому явлению природы не обращалось столько молитв. Изобилие или голод, счастье или горе, свадьбы или похороны — все это во многом зависело от дождей.

Откуда берется дождь? Из тучи? Но известно, что в туче влаги в двадцать раз меньше, чем ее выпадает дождем.

Все мы замечали такое несоответствие: нашла туча, вылилась ливнем, а вроде и не уменьшилась ничуть, ползет себе дальше целехонькая. Откуда берется дождь, если туча остается целой? Что же такое туча? Это механизм, перерабатывающий в дождь влагу окружающего воздуха. Но об этом механизме почти ничего не известно. Потому что еще нет средства глубоко проникнуть в тучу и изучить ее изнутри.

Метеорологи-экспериментаторы пытаются сделать это с помощью самолетов. Их летающие лаборатории гоняются за тучами в таких грозных зонах, куда всем прочим самолетам путь



заказан. Но и такие специально подготовленные самолеты не входят в мощные грозовые тучи, лишь проходят их краешком, где водяной пар еще в виде капелек. Если же в забортных пробах появляются кристаллики, самолеты тотчас уходят. Иначе туча обломает крылья и выплюнет лишь лоскутья дюрала. И вот дилемма: в тучу входить нельзя и не входить тоже нельзя. Потому что в ней, где-то там, в столпотворении ураганных вихрей, бушующих внутри тучи, упрятана тайна, от раскрытия которой зависит так много, — тайна дождей.

Эта тайна будет раскрыта. Во всяком случае у меня в этом нет сомнений. Потому что я видел отчаянную смелость людей, входивших в опасные тучи, словно в тихие лаборатории. Видел приборы фантастических возможностей. Один из них, например, на огромной самолетной скорости способен считать дождинки и сортировать их по размерам. Видел я и тихий грибной дождичек, пролившийся по воле человека. Пролетел самолет над тучей, посыпал ее сверху сухим льдом или чем-то еще и вскинул над полями радугу. Необычно было видеть это. В сознании никак не увязывались маленький самолетик, сверкнувший в небе, и дождевые лужицы на асфальте...

Теперь осеннее небо прижимало тучи к земле, заставляло этот «влагоперерабатывающий механизм» работать почти непрерывно. Я глядел на тучи, сыплющие мелкую ленивую морось, и с запоздалым недоверием вспоминал рассказы метеорологов о том, что каждая грозовая туча несет в себе энергию атомного взрыва...

За Днепропетровском тучи рассеялись. Утром я вышел на палубу, увидел голубое, совсем летнее небо и синюю гладь водохранилища. По левому берегу дымили домны. Впереді низкой ровной чертой лежала на горизонте плотина Днепрогэса. Пароход разворачивался, подходил к бетонной стенке порта имени Ленина. Это было Запорожье, где я должен был сойти.

За свою двухвековую историю Запорожье рождалось четырежды. Сначала в 1770 году, когда здесь была построена крепость Александровская для защиты Южной Украины от турок и татар. Долго это был тихий уездный городок. Только со строительством железной дороги Харьков — Крым город начал развиваться и в нем появилась своя промышленность. В канун XX века здесь было около двадцати тысяч жителей.

Но подлинная промышленная биография города началась с постройкой Днепрогэса. В 1932 году уникальная по тому времени плотина подняла уровень Днепра на 37 метров, затопив пороги и устранив тем самым главную преграду на пути днепровских пароходов. Энергия Днепрогэса, близость криворожской руды, никопольского марганца, донецкого угля позволили создать в Запорожье огромный металлургический комплекс, объединяющий за-

воды «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», коксохимический, ферросплавов, огнеупоров, титано-магнийевый, алюминиевый завод.

Прокатилась война, и все заводы, комбинаты, фабрики Запорожья пришлось строить заново. И выросли в городе новые предприятия, новые жилые районы. На руинах и пустырях, находившихся между старой и новой частями города, построены дома, школы, больницы, кинотеатры. Здесь пролегла главная магистраль Запорожья — 15-километровый проспект Ленина. На правом берегу Днепра вырос крупный район — Ленинский с центром у построенного после войны трансформаторного завода. И сам Днепротэс стал мощнее, чем до войны. В ближайшие годы, согласно новым проектам, он еще удвоит свою мощность, превратится в энергетический гигант — 1 400 тысяч киловатт...

В Запорожье я искал экзотику. Конечно, в городе много уникального. Но там, где некогда шумела Запорожская сечь, хотелось не только на росписях в кинотеатрах и ресторанах увидеть что-нибудь напоминающее те легендарные времена. И я нашел в Запорожье человека, даже внешностью похожего на запорожца из Сечи, — деда Никифора, живущего на Хортице возле древнейшей живой реликвии нашей страны — знаменитого Запорожского дуба.

...Асфальтированная дорожка с выдавленными в жару колеями перемахнула через овраг и уперлась в желто-красные длинные скамьи у ларьков «Пиво-воды». Над ними, над огромной площадью простирал свои руки-ветви этот дуб, уцелевший от тех незапамятных времен, когда была еще Киевская Русь, и половецкие кибитки маячили в степных марях, и русские воины в высокоострых шлемах насмерть схватывались с конниками Батыея. Тяжелый, как сама история, дуб осел, придавил себя собственными ветвями. Вокруг дерева ходили люди, трогали кору, удивленно цокали и пятились, запрокинув головы.

Седоусый дед водил экскурсию вокруг дерева, показывал старые срезы.

— Эту ветку спилили в сорок восьмом году, эту — в пятьдесят третьем: болели они, потому что немцы на них качели устраивали. Тогда же ученые отполировали срез и насчитали 675 годовых колец. Вон еще когда веточка пошла...

...Вон когда веточка пошла! А ведь до нее дубок лет двадцать пять рос в метелку. Бурное тогда было время, или, как говорил дед Никифор, «большое было хождение». И молодой дубок с тех давних пор стал инвалидом. То ли половец сломил вершинку отмахиваться от слепней, то ли мохнатая татарская лошаденка наступила, но только дубок пошел в ветки. Как отец, потерявший силы, надеется лишь на своих сынов, так дуб вырастил на обрубке ствола восемнадцать огромных ветвей, каждая из которых толщиной не уступает отдельному дубу.

Если бы он мог говорить!

Но говорят предания. Будто именно здесь запорожцы писали свое веселое письмо турецкому султану. Будто Богдан Хмельницкий в 1648 году глядел на этот дуб и призывал казаков быть такими же крепкими в бою с польскими панами.

Не раз дубу грозила гибель. Его пытались срубить махновцы, да народ не позволил. Его собирались уничтожить гитлеровцы, да не успели.

А после Великой Отечественной войны у старого дерева нашелся добровольный хранитель — Никифор Антонович Дейкун, местный казак, 1893 года рождения. Рядом с дубом он построил дом и стал ухаживать за деревом, как за своим отцом.

Первым делом он начал воевать с козами. Они дюжинами паслись в лебедё под дубом. А за козами стояли их хлопотливые хозяйки. То-то было шуму, когда Дейкун объявил заповедной всю землю, куда падала широкая тень кроны — без малого 50 метров в поперечнике!

А то вдруг пронесся слух, что кора старого дуба целебна, и по ночам кто-то начал обламывать ветки, сдирать кору.

Бывало, и гусеницы нападали. Тогда Дейкун метался по местным организациям, запрашивал опрыскиватели.

Дубу угрожали и грунтовые воды, высоко поднятые водохранилищем.

И появилась у дуба новая широкая ограда. И занесено было старое дерево в списки самых драгоценных национальных реликвий. И приползли экскаваторы, вырыли дренажные каналы вокруг, чтобы понизить грунтовые воды...

А к деду Никифору теперь нередко прибегают посыльные, чтобы надел он свою любимую косоворотку, показался иностранным гостям. Много ездит к дубу паломников со всех концов света. И дед Никифор, сам как живой экспонат, разглаживает запорожские усы и рассказывает о Запорожской сечи, об истории дуба — этой живой реликвии...

Обратно через плотину Днепрогэса я шел пешком. Тяжело шумела вода под ногами, пенилась внизу у серых скалистых островов. Один из них и поныне сохранил старое название — «Ох-вздох». Это, может быть, единственное, что осталось от страшных днепровских порогов.

Угрюмым скалистым обрывом темнел невдалеке знаменитый остров, где некогда располагались курени Запорожской сечи. Я знал, что скоро на нем раскинется исторический заповедник. Поднимется гранитная фигура кобзаря, замрет на кургане казачий дозор, и Тарас Бульба встанет на постаменте тяжело, как скала. Будет в заповеднике музей-панорама, казачья церковь, настоящая запорожская корчма. И легкие «чайки» закачаются в за-

ливчике на чистой воде в ожидании не былинных, а современных запорожцев, жителей и работников советского металлургического Запорожья.

## БЫЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Лысая гора — типичный бархан, непонятно каким образом повалившийся на берег Каховского водохранилища. Капитаны, плавающие мимо, не перестают удивляться этому «эолову чуду», взметнувшемуся на 34 метра над водой, гладкому, безусловно круглому, как бритая голова магометанина.

Ночевал я на выстуженном дебаркадере возле Лысой горы. Всю ночь мне снилось, что сплю под тонюсеньким одеяльцем, которое то и дело сползает на пол. На рассвете не выдержал, вылез из мешка, натянул на себя все, что было в рюкзаке, и побежал на гору, чтобы согреться. На вершине сел на песок, стал глядеть восход. В просветах неба колыхалась одинокая звезда, словно горячий уголек на ладонях туч. Из-за низкого горизонта поднимались розовые перья — предвестники солнца, подсвечивали речной туман. Слышался далекий шлеп паровозных колес, разговор на плавкране, стоявшем под горой, и еще какой-то непонятный то ли шорох, то ли свист. Не сразу догадался, что это свистят песчинки, перекатываясь по бархану, скручиваясь в мелкие волны ветряного свея.

— Что вы тут сидите?..

От плавкрана карабкался по склону незнакомый дядька.

— Красиво, — сказал я миролюбиво.

— Чего красивого?

Человек поглядел вниз, потом на меня.

— Сразу видно, впервые у нас. Вы б раньше приезжали, когда плавни были. Осокори стояли, хаты. А помидоры какие росли!..

Он покачал головой, не находя слов.

— Бывало, засуха кругом, а в плавнях все цветет. Выжжет траву солнце либо суховей — весь скот в плавнях отсиживается. То была красота! А теперь чего? Одна вода...

Скоро пришел долгожданный теплый пароход. Я, единственный пассажир, нырнул в его уютное нутро и сразу же попал в шумную компанию мальчишек и девчонок. Улыбнулся им на всякий случай. И увидел букет ответных улыбок.

— А вы представьтесь, — сказала одна, с губами, что вишни, и глазами черными, как ночь. Она смотрела непривычно доверчиво — прямо в глаза. И я невольно смотрелся в ее «дивны очи», смущаясь своей пристальности, отводил взгляд и через мгновение снова взглядывал.

— Та мы школяры,— говорили ребята,— домой едем. В Золоту Балку.

— Почему Золота? Был овраг, и в нем запорожцы, когда с туретчины возвращались, казаны с золотом прятали.

— Раньше были плавни, кавуны росли — во! Потом село на гору переехало...

— А в колхозе две школы,— наперебой рассказывали они.— Одна середня, друга початкова. Четыреста школяров. А всего народу две тыщи двести.

— А кем вы будете после школы?

В газетных очерках на такие вопросы ответы заученные — агрономом, врачом, инженером, летчиком и даже космонавтом. А эти:

— Водителем буду. Два рычага и дышло.

— В колхозе робить...

Конечно, будет всякое. Жизнь рассортирует людей согласно их невысказанным, а может, еще и непонятым душевным привязанностям. Но то, что сын колхозника первым делом для себя называет профессию земледельца,— это радует.

Пролетели часы в разговорах, простых и бесхитростных. Будто еще не пришел холодный самоконтроль, вынуждающий подолгу жевать невысказанное. Я наслаждался неожиданной возможностью говорить не задумываясь, не опасаясь неправильных толкований.

Крутые волны толклись под пароходным бортом. Покачивались бакены— справа красные, слева черные, некоторые с кокетливой белой полоской. Пароход, шумно дыша, подваливал к пристаням и снова уплывал в белый простор, топтался посреди водохранилища, строчил плицами волны.

Наконец за очередным поворотом показался дебаркадер Золотой Балки, уцепившийся за крутой обрыв тросами и длинными бревнами.

— Приезжайте!

Ребята церемонно по очереди пожали мне руку, сбежали на отмель и шумно пошли по тропке откоса.

Тихо и грустно стало на пароходе. Я запоздало ругал себя за то, что не послушал ребят, не сошел вместе с ними порасспросить об этих днепровских плавнях, воспоминание о которых не дает покоя местным жителям вот уже второе десятилетие.

«Ладно, расспрошу в Каховке»,— успокоился я и пошел укладывать рюкзак.

...«Каховка, Каховка, родная винтовка...»

Мне казалось, что она единственная. Но Каховок было целых три: Старая, Новая и еще Малая. Сначала я попал в Новую. Утром, едва ступив на зеленую набережную, наткнулся на доску

объявлений. Харьковчане, днепропетровцы, бакинцы, львовяне, каунасцы, рижане и даже ялтинцы и ленинградцы умоляли новокаховчан обменяться квартирами.

«Что это за край обетованный?» — недоумевал я, шагая по тихому Днепровскому проспекту. Двух-, трехэтажные дома тонули в сухой зелени листвы. Каменный белый бордюрчик вместо забора, на нем длинная шеренга цементных урн с серыми стебельками бывших цветов. Широкая площадь, окруженная завитушками барельефов на административных зданиях. Разноцветная глазурь крыши Дома культуры. Новенькие автобусы. Монотонный шорох шагов по сухому асфальту. Квадраты маленьких чистых кварталов. Тишина дворов.

Детям, должно быть, особенно хорошо в этом «игрушечном» городе. Я мысленно восклицал вслед за Александром Довженко (и, вероятно, вслед за всеми, кто вывесил объявления об обмене): «...нигде мне не хотелось бы так жить, как здесь!» Впрочем, сколько уж раз в этом путешествии приходилось чувствовать подобное!

В Старую Каховку я поехал автобусом. Мимо кранов на новостройках, заводских ворот, обставленных велосипедами, мимо желтых песчаных проплешин на голых полях с редкими зарослями акации. Поехал в ту самую Каховку, которая, согласно песне, была некогда «этапом большого пути».

Однако скоро мне пришлось убедиться, что слово «была» принимать в Каховке еще рано.

В тот день я ездил по новостройкам района в пропыленной, почти вездеходной «Победе» районной газеты. С крутого днепровского берега мы с шофером разглядывали панораму Каховского гидроузла, любовались безупречными откосами Северо-Крымского канала, переживали у обелисков, слушая в своей душе отголоски старых песен. «...И ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горячей Каховкой...»

А потом машина вылетела на крутой обрыв и замерла у края гигантского, прямо-таки лунного, кратера. Внизу черными жуками копошились десятки бульдозеров, скреперов, самосвалов.

Здесь начинался головной канал будущей Каховской оросительной системы.

Если бы я не знал, где нахожусь, то мог бы подумать, что это строится нечто вроде нового Суэцкого канала, так велик был раскоп. В его просторах, на мой взгляд, свободно разошлись бы даже океанские лайнеры. Впрочем, могло ли быть иначе? Ведь сооружалось русло целой реки, которая должна была пропустить 530 кубометров воды в секунду — больше, чем в Каракумском канале. Этот магистральный канал уйдет в степь на 125 километров, и плотная оросительная и водосборная сеть, общая длина которой составит

почти половину длины земного экватора, напоит 260 тысяч гектаров сухой Таврии. Такова первая очередь строительства. В каждый гектар здесь вкладывалось в три с лишним раза больше денег, чем на строительстве Северо-Крымского канала.

— Почему? — удивился шофер, когда я сказал ему об этом.

— Потому что научились строить.

— Как это? Научились, а дороже?

— В природу встревать — не пуговицы пришивать. Природа что лошадь: не накормишь — не поедешь. На Северо-Крымском чего хотели? Орошения? Но поднялись грунтовые воды, затопили села. Те же расходы, если не больше. Нет, брат, для того чтобы править, нужно две узды. Нельзя строить только оросительную или только осушительную систему. Нельзя регулировать только в одну сторону. Здесь это поняли. На Каховском канале будет не только распределительная сеть, но также водосборно-сбросная и коллекторно-дренажная. И многое другое, что на Северо-Крымском считалось лишним и ненужным. Вот почему Каховский так дорог. Он гарантирован от многих так называемых досадных недоделок, которые потом обходятся втридорога.

— А правда, будто ученые думают спустить море? — спросил шофер.

— Ученые вряд ли...

Я знал источник этих слухов. Некоторое время назад один писатель, наслушавшись вздохов по затопленным плавням, предложил признать ошибку и ликвидировать Каховское море. Писатель хороший и честный, но, как и многие, не свободный от любви к субъективной информации.

Таковы частые наши заблуждения. Мы признаем существование лавины информации, но зачастую питаем страсть не ко всей этой лавине, а лишь к той ее части, которая нам нравится. Защищая свою точку зрения, мы берем и показываем не всю многогранную, сложную и гармоничную правду, а лишь какой-нибудь выгодный ее краешек.

Взять вышеупомянутую статью, предлагавшую спустить Каховское море. Не мог же автор не знать, что в природе, как и в истории, ничто не может вернуться к своему началу. Свершенное даже ошибочно навсегда кладет свой зигзаг в фундамент будущего, и все, что следует потом, так или иначе вынуждено учитывать предыдущее.

Было ли ошибкой создание Каховского моря? Речники и гидроэнергетики отвечают отрицательно. Земледельцы тоже.

«Страшный суд творился тогда среди голых, незащитных таврических степей: срывало крыши, заметало колодцы, с корнем вырывало из-под ног людей посеvy. В отчаянии метались тогда люди среди этой завирухи. Безлюдной, безводной, безлесной была

земля, утомляла взор своим однообразием». Это отрывок из романа Олеса Гончара «Таврия».

О море в степи мечтали люди с давних пор. О нем думал еще Петр I, выписавший для этой цели из Англии плюзового мастера Джона Перри. Потемкин тоже пытался создать море трудом тысяч солдат и крепостных. Теперь, зная объем работ, мы видим, какими наивными были эти их попытки.

Писатель, предложивший спустить Каховское море, назвал свою статью «Земля в беде». Но какая земля?

В семнадцатом году кое-кто имел основания кричать: «Человек в беде!» Но какой человек? Богатый. Зато подавляющему большинству обездоленного народа стало легче. Теперь давайте наложим этот условный эталон на проблемы Таврии. Возьмем карту юга Украины и проведем от Запорожья до Азовского моря прямую линию. Между нашей линией, жилкой Днепра и морями получится гигантский треугольник в миллионы гектаров. Вся эта земля была в большой беде, задыхалась от безводья и песчаных бурь. Напоить ее могло только море. Но создать море значило затопить десятки тысяч гектаров плодородных плавней. Это был тот случай, когда воробью в руках пришлось предпочесть журавля в небе.

Мы еще не научились хранить моря в цистернах. Одно из самых дефицитных веществ современности, пресная вода, может сосредоточиваться только в водохранилищах. А создание их невозможно без затопления части берегов.

Именно части, а не всех.

В этом соль вопроса.

Сейчас всеми признается, что при подготовке ложа Каховского водохранилища следовало оградить дамбами Конские плавни — 70 тысяч гектаров. На подробных картах водохранилища эта площадь окрашена в блеклый цвет водной пустыни со средними глубинами меньше метра. Для Каховской ГЭС запасов этой воды ничтожно мало — всего лишь на один процент годового производства электроэнергии. А заливает она треть всей затопляемой зоны.

Иногда приходится слышать, что дамбы слишком дороги. Но в случае с Каховским морем потеряны десятки миллионов пудов зерна, сахарной свеклы, горы мяса, реки молока. Говорят: грунтовые воды, поднявшись, могли затопить сельхозгодья, и тогда понадобилось бы строить дренажную сеть. Но если в холодной Калининградской области это считается выгодным, то здесь, под южным солнцем, как не создавать культурное хозяйство?

Теперь составляются проекты строительства дамб и осушения Конских плавней. Но теперь это обойдется куда дороже.

Строители и экономисты делают должные выводы из собственного опыта. Пример тому — новая гигантская стройка, Каховская



оросительная система, где учтены все вероятные противодействия природы, где экономия достигается трезвыми, дальновидными расчетами...

Редакционная легковушка мчалась, обгоняя грузовики и самосвалы, мимо ровненьких, будто разлинованных, по-осеннему прозрачных виноградников, мимо домов и садов. Потом шофер круто свернул влево и через несколько минут остановил машину на небольшой площадке у обочины.

В стороне на зеленом холме стояла застывшая в бешеной скачке четверка коней с пулеметной повозкой.

— Наша тачанка,— сказал шофер таким тоном, будто сам скакал по этой степи или строил памятник. И мы пошли по узкой каменистой дорожке к зеленому холму, снова, до мурашек на шее, переживая пионерскую гордость. «Под солнцем горячим, под ночью слепую немало пришлось нам пройти...»

Гулял по степи холодный ветер, прижимая траву к копытам бронзовых коней, свистел в голых ветках только что посаженных тополей. Почти не греющее большое солнце клонилось к вечерним облакам. Беззвучно ржали кони, пулеметчик раздирал рот в слышном крике. По длинной дорожке шли к памятнику молчаливые люди. Переполненный тишиной, я медленно обходил памятник. И вдруг замер на месте. Закатное солнце, оказавшись на надульнике пулемета, оживило его огневой вспышкой. Но это напомнило не ночное трепыхание пулеметных очередей, а яркие огни электросварки, примелькавшиеся за день.

И Каховка вдруг представилась мне сразу вся, в необыкновенном историческом разрезе: от крохотного заурядного местечка, запуганного набегами бандитских банд Махно, Маруси, Пугача, от маленького пункта, вставшего однажды на перепутьях большой войны боевым плацдармом, до нынешнего хоть и небольшого, но благоустроенного промышленного города, словно бы замороженно-го предчувствием будущего. В том совсем уж недалеком далеке сольются три Каховки в один большой город, и бронзовая тачанка окажется где-то посреди него на широкой поляне ковыля.

«Каховка, Каховка... горячею пулей лети».

В будущее.

### В СТЕПИ ПОД ХЕРСОНОМ

От Новой Каховки до Херсона пароход идет три с половиной часа, «Метеор» проскакивает эти 60 километров за час. За Новой Каховкой берега близкие и зеленые: шеренги осокорей у самой воды, лабиринты заливчиков в зарослях тростника с за-таившимися лодками рыбаков. Среди еще не осыпавшейся густой листвы мелькали белые стены мазанок, косые плетни у воды,

черные челноки лодок, высокие створные знаки, похожие на творения скульпторов-абстракционистов. Это и есть плавни. Такие же, что теперь спят на дне Каховского моря...

Скоро правый берег стал приподниматься, наверху мелькнули первые домики и вдруг зачастили сплошными окнами херсонских пригородов. Еще несколько минут — и «Метеор» плюхнулся на живот перед стеной черных бортов и высоких порталных кранов.

Херсон. Первое дыхание Черного моря — моей цели. Я торопливо оглядывал борта морских судов, искал желанное слово «Клайпеда». Стояли сухогрузы из Одессы, Жданова, Ленинграда, суда с названиями иностранных портов. А клайпедских не было.

— Приходят иногда, — объяснили мне в диспетчерской морского порта. — А теперь ленинградские есть. Тоже с Балтики. Не все ли вам равно?..

Я согласился, что разницы, пожалуй, нет, и отправился знакомиться с городом.

Прошел по тенистым аллеям детского парка, где шумные вагаты юных херсонцев штурмовали какие-то абстрактные, должно быть специально для этого построенные, сооружения, и оказался на склоне, откуда был виден светлый краешек Днепра. Зеленый газон с желтыми каемками дорожек сбегал к обрыву и упирался там в массивный квадратный камень. Это был памятник Неизвестному солдату. К памятнику шли люди, молчали возле него, болели былыми болями в одиноких думах. Ведь всем после той войны есть о чем помолчать...

Херсон любили многие. Кто только здесь не бывал! В Херсоне жили Ушаков, Суворов, Пушкин и дядя матери Пушкина Ганнибал, Толстой, Мусоргский, Хетагуров и, естественно, первый строитель города знаменитый инженер Корсаков, погибший под Очаковом. Жили Мейерхольд, Щепкин, Белинский, сказавший будто бы, что тот, кто хочет насладиться долголетием, должен ехать в Херсон. Бродили по этим улицам Маяковский, Лавренев, Тарле, Попов, осуществивший первую на Украине радиосвязь между Херсоном и Голой Пристанью. Здесь жил и Горький, не догадываясь о том, что ночлежка, где он обитал, станет одной из городских достопримечательностей.

Но если бы все эти люди увидели теперешний Херсон!

...Херсон похож на Клайпеду: он тоже живет и рекой, и морем. Морской и речной вокзалы здесь соседи — разделены только забором. Почти борт о борт стоят речные пароходы и морские суда.

Херсон начинался как порт и как верфь. С его стапелей уже в 1783 году — на пятый год после закладки города — был спу-

щен первый фрегат. Херсон и теперь прежде всего город судостроителей. Отсюда отправляются в странствия по морям и океанам самые быстроходные сухогрузы, впервые в мире оснащенные газотурбинными двигателями. Здесь на судоремонтном заводе имени Куйбышева обычно обновляются китобойные суда. Здесь на судостроительном заводе сооружаются гигантские доки. Теперь только на одном этом острове трудится в четыре раза больше рабочих, чем их было до революции во всей Херсонской губернии.

Но, оставаясь городом судостроителей, Херсон все больше приобретает славу разностороннего индустриального центра. Отсюда уходят в степи «сухопутные корабли» — кукурузоуборочные комбайны. Местный хлопчатобумажный комбинат — один из крупнейших в стране. А консервный комбинат сейчас выпускает вдвое больше продукции, чем ее давала вся дореволюционная консервная промышленность царской России.

Чтого только не отправляет Херсон во все уголки Советского Союза, в десятки стран мира — сложные машины, всяческие агрегаты, вина, ткани, арбузы... Из многочисленных статей херсонского вывоза меня заинтересовала, может быть, самая маловажная, но, несомненно, самая оригинальная — живые зайцы. Они во множестве развелись в молодых лесопосадках херсонских степей.

В один из дней я отправился в степную деревеньку Буркуты, где находится контора местного госохотхозяйства.

Автобус был не московский — разговорчивый. И набитый до нельзя. Я стоял в проходе меж беспокойными спинами молоденьких девчонок, складным обеденным столом, перетянутым веревками, мягкими мешками, на которых сверкала эмалированными боками невиданных размеров кастрюля, и слушал непрерывный русско-украинский говор. Пахло жареными семечками, дорожной пылью.

За степью гасла заря. Шофер света не зажигал, и скоро голоса гудели в полной темени.

Автобус понемногу пустел. На Буркуты оставались только я да еще две колхозницы. В каком-то месте кромешной тьмы автобус высадил нас и укатил. Обступила черная пустота, утыканная сверху начищенными кнопками звезд.

— Где тут охотничье хозяйство? — торопливо крикнул я колхозницам, исчезавшим в темноте.

— Та близко. Идите прямо!

Куда прямо? Недоуменно огляделся, заметил белые пятна мазанок. Пошел вдоль улицы, пробуя ориентироваться по звездам. И уже почувствовал, что вот-вот заблужусь, как услышал сзади крик:

— Колька! Проводи дядьку до охотников!

Местный Колька оказался надежнее звезд. Ровно через пять минут я уже беседовал с егерями за большим столом госохотхозяйства Буркуты...

Ночью ударил мороз, и великая тишь легла на степь. Я встал до рассвета, не утерпел, пошел по дороге, побеленной первым инеем. Поблескивали полегшая трава, ледок на мелких озерах. Черноголовые чайки вместе с грачами бродили под кустами калины. Сонно шептались заросли тростника в низинках. А над деревней, над дальними перелесками вставала холодная фиолетовая заря.

Был тихий час, каких не так уж много случалось в моем путешествии.

А потом начался шумный день. На машине госохотхозяйства мы уехали в степь и там в березовом мелколесье растянули большую зеленую сеть на зайцев. Скоро загонщики ушли по дальней просеке, и в пожелтевшем осеннем лесу повисла тишина. Покуривали егеря, сидя на ящиках, приготовленных для зайцев. Тараторили сороки, успокаиваясь понемногу.

Я ушел на фланг, приготовил фотоаппарат и стал ждать у края сети. Далеко слышались выстрелы, улюлюканье, нечеловеческий гогот, уханье, ржание и всякие другие звуки, какие в обычном состоянии человек даже и не придумает.

«До чего же диким, должно быть, кажется сейчас человек лесным зверям», — подумал я.

И вдруг увидел зайца. Он словно и не бежал — летел меж березок, уходя в сторону от сети.

— Куда! Назад! Держи! — неожиданно для себя заорал я, замахал фотоаппаратом и побежал по песку, чувствуя власть какой-то неодолимой силы, влекущей и уносящей...

— А-а! О-о! Стрелять буду! Держи-и его!.. Уше-ел! Ушел!

М-да... Я огляделся. Никого вокруг. Солнце мерцало за рябенькой тучкой. Акация бесшумно сыпала свои подмороженные зеленые листочки. Издали доносились крики загонщиков. Я вернулся к егерям, которые уже попрятались за свои ящики, встал за деревце напротив небольшой полянки и постепенно начал приходить в себя. И тут увидел «заячью солидарность».

Они выпорхнули впятером на полянку, замерли у кромки леса. Обычно напуганный заяц мчитя, не разбирая дороги, сходу влетает в сеть, бьется и кричит голосом охрипшего ребенка. И эти собралась в кучку, засуетились там на одном месте, будто совещались. Потом самый крупный из них разбежался и перемахнул сеть. Я видел, как подпрыгнула фуфайка затаившегося неподалеку егеря и снова замерла за ящиками: разбежался другой заяц.

А когда и третий и четвертый заяц избежали ловушки, егерь не выдержал, вскочил, заулюлюкал.

Когда свернули сеть, был устроен обед на траве: поздние херсонские кавуны, желтое украинское сало, хлеб, неестественно белый на местной газетной бумаге, и виноград, которого много удалось насобирать на тех плантациях, где совхозные планы были уже выполнены. И начались разговоры. Об охотничьих проблемах.

...Давным-давно было время, когда человеку вовсе неохота было охотиться. Ибо в том споре равных он сам нередко становился жертвой. Но выхода не было: человек хотел есть. С тех пор много воды утекло, много истерто и каменных, и бронзовых, и железных орудий труда. Человек стал всеильным, и бывшая необходимость, освобожденная от риска, превратилась в забаву, в спорт. Приятно срезать на лету стремительного селезня, приятно видеть, как покорно падает олень или могучий вепрь. Одно удовольствие! Как в кино. Ни риска, ни боли, ни даже усталости.

И таких было немало, кто убивал, не задумываясь о последствиях.

Ныне охотники стали дальновиднее. Теперь повсюду создаются государственные охотничьи хозяйства. Это не всегда те хозяйства, где все основано на производстве, воспроизводстве и рентабельности. Но и они уже удивляют своей деловитостью. На Украине таких хозяйств два десятка. Они занимают что-то около полутора процентов всех охотничьих угодий республики. Но на этих полутора процентах как-то оказалось почти сорок процентов поголовья копытных и четверть всех украинских зайцев.

Да, времена «вольных стрелков» (теперь мы их называем браконьерами) уходят в прошлое. Природа перестает быть ничьей. Вся она, от недр до атмосферы, от флоры до фауны, от водопадов до молний в небе, становится единым полем, на котором вызревает древо человеческой культуры. И в этом всеобщем единстве не остается места прихотям одиночек.

Не только минеральные богатства, водные ресурсы, леса и травы, но также зверь, и всякая птица, и рыба будут включены в кадастры национальных ценностей, учтены, пересчитаны. И кто-то будет отвечать за их воспроизводство, как теперь отвечают за поголовье коров, свиней, кур.

Охота также становится отраслью народного хозяйства, основной не на стихии — на точном бухгалтерском учете. Особенно это относится к херсонским степям, где и зайцы — завезенные, и леса — выращенные из саженцев.

В Цюрупинск ведет много дорог. Но лучше всего туда добраться водой, по узким протокам Днепровских плавней, мимо чудесных пойменных берегов в осокорях и осинах. Речной трамвайчик всего за сорок минут тихо-мирно доставляет сюда пассажира из Херсона.

Что сказать о Цюрупинске? Известно, что здесь родился и жил выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, соратник Ленина Александр Дмитриевич Цюрупа; что прежде это место называлось Алешки — от «олешка», «ольха», которая в давние времена будто бы сплошь покрывала округу; что тут живописнейшие места, лучшие абрикосы, сливы, виноград.

Меня интересовало небольшое местное учреждение с длинным названием — Нижнеднепровская научно-исследовательская станция облесения песков и виноградарства на песках.

Прежде думалось, что моя дорога «из варяг в греки» пойдет через леса Литвы и Белоруссии, через болота Полесья, через цветущие черноземы Украины. А вышло что-то несусветное: огромные подвижные дюны Прибалтики, засыпающие деревья и деревни, широченные пляжи и песчаные перекаты Немана, сплошной песок Припяти, лысые горы на Днестре. И под конец у «самого синего» Черного моря, где мерещились одни пальмы, — настоящая Сахара. Природа, грозившая песками на протяжении двух с половиной тысяч километров, ставила здесь огромную точку.

Временами казалось, что все земли лежат на песке, едва прикрытом тонким слоем плодородной почвы, и что стоит только тронуть этот слой, как пустыня вырвется на поверхность и начнет гулять песчаными буранами, наваливаться полчищами неутомимо наползающих барханов — кучугуров...

«Горе путнику, застигнутому во время песчаной бури хотя бы по дороге между Алешками и Костогрызовым. Прикрыв себя всем, что только может иметь значение защиты, с шумом и песком в ушах, с болью и песком в глазах, со щекотанием и песком в носу, с затрудненным дыханием и песком в горле и, наконец, с упованием и надеждой в сердце ему остается только ожидать прекращения этого ада».

«Движение песков за последнее время заметно усилилось. Двигаются они по всевозможным направлениям и заносят собой не только ценные земли, но и озера, берега притоков Днепра, заносят сохранившиеся еще остатки лесов естественного происхождения и искусственно созданные плантации, разрушают до-

роги, поглощают усадьбы и сильно угрожают даже целым селениям...»

Так писалось о нижнеднепровских песках в конце прошлого века. С тех пор площадь песков вроде бы должна была увеличиться. Ведь если в 1875 году их было 115 тысяч гектаров, то в 1917 году — уже 200 тысяч.

А теперь на 70 тысячах гектаров этих песков растут леса. ...Нижнеднепровские пески тянутся вдоль левого берега почти на 150 километров. Все они аллювиального происхождения — оставлены водами древнего Днепра при перемещении его русла с юго-востока на северо-запад. В летнее время температура поверхности песков поднимается до 60—70 градусов. Это приводит к ожогам растений. Горячий песок повышает температуру воздуха, изменяет точку росы и уменьшает осадки. Частые местные ветры, достигающие скорости 20—25 метров в секунду, образуют многодневные песчаные бури, которые засекают, выдувают, засыпают и без того редкие травы. Эти пески чрезвычайно бедны органическими веществами: они на 98 процентов состоят из кварцевых зерен. Кроме того, они обладают слабой поглотительной способностью, малой влагоемкостью...

И все же на нижнеднепровские пески ученые смотрят оптимистично. Они уверены, что все эти места скоро станут не только житницей, но даже курортной зоной. Пустыня исчезнет. Вся площадь покроется лесами. Под защитой лесополос зацветут абрикосы, персики, вишни, сливы, виноград. Здесь, на песках, фрукты вызревают на две недели раньше, чем даже в Крыму. «На песках трудно создать ту или иную культуру, но, если это удастся, получим все здесь в лучшем виде, лучшего качества: виноград во всех отношениях хорош, вино из него лучшее; нежнее фруктов трудно найти; персики, например, являются феноменальным явлением по своей красоте, величине плода и нежности вкуса». Вот как отзывался об этих местах один из первых энтузиастов садоводства на песках Иосиф Антонович Борткевич.

Мы ездили по нижнеднепровским пескам с заместителем директора научно-исследовательской станции Сергеем Климовичем Онищуком.

— Здесь тоже была пустыня, — говорил он, показывая огромные виноградники. — Бугры мы выровняли, песок взрыхлили, внесли удобрения, обеспечили полив. И знаете, какие тут урожаи? До 170 центнеров с гектара. Только они даром не даются. Пробовали. Чуть переэкономим, нарушишь агротехнику — и все впустую. Зато если постараться да не пожалеть для земли труда и средств, все окупается. Вы спросите, зачем мы сажаем леса, а не создаем сплошь виноградники? Потому что это обходится недешево. Кроме того, не все пески еще пригодны для виноградников.

Немало таких, где даже сосну вырастить трудно. А в-третьих, леса ведь тоже нужны. Менделеев задачу облесения южных степей считал однозначней с защитой государства...

Да, это поняли давно. Впервые борьбу с подвижными песками начали в 1834 году. В то время от них было много бед. Но сажали тогда главным образом лесополосы вдоль дорог и возле селений, на сравнительно плодородных, супесчаных землях. А непосредственно на аренах — голых, легко раздуваемых песках — за 83 дореволюционных года удалось вырастить всего лишь 150 гектаров сосны.

В 1949 году тоже попытались переупрямить природу. Высаживали на песках по две-три тысячи гектаров леса ежегодно. Но почти все погибало. И в который уже раз поняли ученые, что с природой так не выйдет, что надо прежде провести научные исследования, разработать специальную агротехнику лесопосадок.

И разработали. И вырастили на песках 70 тысяч гектаров леса...

Сначала мы попали в питомник. Всю его площадь устилал мягкий зеленый ковер, похожий на плотную озимь. Это были сосны, малюсенькие, почти новорожденные. С них-то и началось мое знакомство с лесной агротехникой. Не взывайте, читатель, но я намерен немного рассказать о ней. Хотя бы для того, чтобы ваша любовь к природе стала больше, чтобы еще острее поняли вы, как трудно восстанавливать природу.

...Опытами ученые выяснили, что из всех пород на местных песках лучше всего растут сосны — обыкновенная и крымская. Но и с ними хлопот хватало. Вначале лесоводы недоумевали: почему привезенные саженцы так часто погибают? Потом догадались выращивать их в местных условиях. В перепаханную землю вносят десятки тонн торфа, навоза, суперфосфата. Принимаются меры, чтобы не завелся хрущ — страшный вредитель молодняка. Обеспечивается нужный полив. Одним словом, хлопот с саженцами сосны не меньше, чем, например, с помидорной рассадой. И термины здесь прямо сельскохозяйственные: «предпосевная обработка семян», «дружные ранние всходы», «уход за почвой».

Сельскохозяйственная терминология не исчезает и после. Молодые леса здесь считаются пропашной культурой. Для них папуг землю, вносят удобрения, применяют ядохимикаты, проводят междурядную культивацию. Почва рыхлится на глубину до 80 сантиметров. Там, где может проходить трактор, это делается с помощью культиваторов. На бугристых песках — вручную, специальными переносными мотобурами. Между сосенками оставляют полосы травы, которая первое время спасает слабые побеги от острого песка и горячего ветра. Потом, когда сосенки окрепнут, трава уничто-



жается сплошным дискованием, чтобы вся влага почвы досталась юным деревцам.

Такая обработка почвы в междурядьях будущего леса ведется семь-восемь лет.

Только при «сельскохозяйственном» подходе к лесопосадкам удалось достигнуть успеха. Только так лесоводы гарантируют 80-процентную приживаемость сосновых культур...

Поездка по лесам в тот день была необычной. Сначала это был и не лес вовсе, а ровнехонькая степь, полосатая, как зебра. И сосны в этом лесу можно было разглядеть, разве только наклонившись. Потом мы добрались до леса, напоминавшего детский сад с длинными шеренгами малышей ростом нам по колено. Еще несколько километров пути по зыбким песчаным дорогам, и мы ходили в новом лесу как ровесники — рост в рост. Он уже шумел по-взрослому, подстилал себе сухой хвой, прикрывал широкими лапами россыпи маслят. Слово «россыпи» здесь не ошибка. Иначе не назывешь это обилие грибов. И уже ходили по лесу грибники с кошелками, аукались. Здесь, где за все века человеческой цивилизации о грибах знали только по рассказам!..

И еще были леса, поднимались все выше, пока не встали могучими борами.

— Эти — старых посадок, — пояснил Онищук. — Когда брали не наукой, а терпением, когда каждое дерево давалось с таким трудом, что у многих опускались руки. Теперь у нас почти все механизировано.

Он начал перечислять марки тракторов, навесных и ненавесных приспособлений, применяемых лесоводами. Я пожалел, что не обзавелся магнитофоном: запомнить все это было немислимо, а знать надо бы. Потому что песков в стране, сам видел, предостаточно, и об опыте нижнеднепровцев следовало бы говорить и говорить. Но Онищук будто угадал мои огорчения.

— Если захотите узнать подробнее, — сказал он, — возьмите книгу директора нашей станции Владимира Николаевича Виноградова «Комплексное освоение Нижнеднепровских песков»...

Мы возвращались в Цюрупинск по узким лесным дорогам. Темнело. Стволы сосен золотились в свете фар. Осыпались акации, прихваченные первым морозцем, устилали землю сплошным ковром желто-зеленых остреньких листочков. Газик, словно разыгравшийся козленок, прыгал совсем весело. И мы терпели, вцепившись во что попало, понимали: лес не поле, тут на земле корни...

— Знаете ли вы Голую Пристань? — часто спрашивали меня здесь на Днепре. И восклицали с гоголевским пафосом: — Как, вы не знаете Голой Пристани?!

Капитаны днепровских пароходов рассказывали о том, сколько из этого маленького городка вышло любителей водных дорог. «Правда, все больше моряки», — с грустью добавляли они. Полные дамы восторгались голопристанскими санаториями, солеными озерами, грязелечебницами. Боцманы, те все больше вспоминали знаменитые арбузы из Голой Пристани. А один матрос добрый час рассказывал мне о любопытной традиции голопристанцев — украшать коньки своих крыш резными лирами, якорями, звездами, ракетами.

Меня этот городок интересовал как центр Черноморского заповедника. Однажды поутру я сел на небольшой теплоходик, один из тех, что с автобусной регулярностью курсируют между Херсоном и Голой Пристанью. Заптриховались дально, утонули в серой дымке краны и доки города. Теплоходик нырнул в Конку, одну из проток Днепровской дельты, и поволок за кормой крикливую тучу чаек. Низкие берега подступили ближе, замельтешили шеренгами осин, осокой, дубов, прикрытых понизу сплошной стеной тростниковых зарослей. Кое-где виднелись прорезанные в тростнике коридоры с длинными мостками, уходящими в глубину, и там в просветах мелькали белые домики.

На теплоходе я узнал, что голопристанцы очень не любят, когда их так называют. «Голой Пристани» они предпочитают короткое и романтическое «Гопри», по названию знаменитого местного санатория.

А вообще-то Голая Пристань оказалась обыкновенным тихим зеленым городком, только площадь возле пристани была, действительно, голой, без травинки, и тугие мешки колхозников, предназначенные для херсонских базаров, лежали прямо на сухом сером песке.

Домики конторы Черноморского заповедника стояли за какими-то складами. У калитки с надписью «Добро пожаловать» сидела рыжая собака и рычала на посторонних. Я имел все основания считать себя «своим» и прошел, стараясь не обращать внимания на собаку. В зеленом дворике, усыпанном желтой листвой, стояли фанерные щиты с нарисованными лебедями, гусями, утками.

У директора музея Дмитрия Степановича Берестенникова был вид человека, измученного частыми наездами корреспондентов, киношников, ученых и всяких начальников.

— Значит, так,— сказал он, вода пальцем по большой карто-  
схеме.— Надо бы побывать на Потиевском участке. Оттуда легко  
попасть на Тендровскую косу, где птиц сейчас видимо-невидимо.  
Затем полезно совершить экскурсию на участок Ягорлыцкий кут.  
Оттуда легко добраться до островов Орлова, Долгого, Круглого, до  
Египетских островов, можно съездить на другой конец Тендров-  
ской косы. Пожалуй, стоит посмотреть участки Ивано-Рыбальчан-  
ский, Соленоозерный и Воляжин лес. Там сохранился кусочек  
леса; такие две с лишним тысячи лет назад покрывали весь Кин-  
бурнский полуостров...

После этих слов Берестенников помолчал, глядя в окно, и  
добавил:

— Впрочем, пожалуй, незачем ехать на Потиевский участок:  
на Ягорлыцком увидите то же самое. И Ивано-Рыбальчанский, по-  
жалуй, вас не заинтересует — голая степь. А Воляжин лес дале-  
ковато. Дорога там плохая...

Я успешно согласился и переменял тему разговора, опасаясь  
дальнейших сокращений маршрута.

Директор снабдил меня кучей интересных сведений о запо-  
веднике. Я узнал, например, что весь юг нынешней Херсонской  
области, где теперь лежат сплошные пески, в далеком прошлом  
был покрыт густыми лесами, к которым примыкали целинные  
степи с травами в человеческий рост. Что здесь водились огром-  
ные стада быстроногих сайгаков, паслись табуны диких лошадей,  
бродили туры, а еще раньше будто бы даже и слоны и но-  
сороги.

Теперь морские ветры свободно проносятся над голой степью,  
покрытой красными лишаями солянок, над песчаными кучугура-  
ми и солеными озерами. Лишь кое-где встречаются редкие кол-  
ки — остатки былых лесов: дубы, березки, черная ольха, осина,  
дикая груша. В 1927 году решено было взять под охрану эти  
участки, с тем чтобы можно было изучить их, понять условия, ко-  
торые помогли бы восстановить леса.

Важнейшая задача Черноморского заповедника — охрана цен-  
ных птиц, облюбовавших озера и заливы у Кинбурнского полу-  
острова для гнездовий, для своих зимовок, для остановок во время  
перелетов.

Черноморский заповедник огромен — свыше 450 квадратных  
километров. Но четыре пятых охранной зоны — это вода, широкие  
акватории в Тендровском, Джарылгачском, Ягорлыцком заливах.  
Заповедник разбросан отдельными участками по всему Кинбурн-  
скому полуострову. Он удивительно разнообразен: в нем есть ле-  
состепные и степные участки, песчаные дюны, соленые озера, при-  
брежные мелководья, густо поросшие тростником, острова, морские  
заливы и даже участки открытого моря.

На заповедные острова, на низкие берега заливов слетается на гнездовья масса чаек, уток, куликов. Среди них — знаменитая черноголовая чайка, верный страж колхозных полей. Подсчитано, что одна чайка за сутки съедает до 200 граммов насекомых — хлебных жуков, клопов-черепашек и прочих, тем самым сохраняя за сезон до полупуда зерна. Все Нижнее Поднепровье — четыре тысячи квадратных километров — «обслуживают» эти добровольные помощники хлеборобов. И все они — до 200 тысяч пар — слетаются вить гнезда сюда, в Черноморский заповедник.

В Черноморском заповеднике тесно от птиц в любое время года. Сюда собираются на «зимние квартиры» до четырех тысяч гусей, до 13 тысяч лебедей, до 150 тысяч утиных. Охрана всей этой пернатой массы от хищных зверей и не менее хищных браконьеров — задача сотрудников заповедника. И наблюдение за перелетами птиц, изучение видового состава фауны и флоры заповедных участков, разработка мероприятий по сохранению и увеличению численности ценных видов животных. И конечно, популяризация идей охраны природы...

Я пообещал Берестенникову, что стану одним из его помощников в деле популяризации, и получил взамен две сопроводительные бумаги к наблюдателям. Одна бумага начиналась обращением: «Товарищ Обмок!», другая — «Товарищ Зима!»

Подошла машина — вездесущий «газик», и скоро мы уже мчались по широкой украинской степи. В машине были три больших белых кролика, собака, канистра с керосином, рюкзаки, корзины, ящики. Ехала Маруся — жена ягорлыцкого наблюдателя Обмока. На узкой скамейке сидел, согнувшись, длинный добродушный парень — киевский орнитолог Олег Борисович Луцук. Он всю дорогу рассказывал о своей любимой овчарке, оставшейся дома, с родословной, достойной графского титула; пса этого каждый год увешивают медалями, снимают в кино и приглашают на свидания.

Асфальт дороги сменился булыжником, булыжник — пыльным проселком. Затем пыли поуменьшилось, пошли незабитые колеи, похожие на широкие рельсы, проложенные через голую степь, зыбкие скользкие солончаки, устланные ковром красных солянок. Косяки гусей обгоняли машину, стаи чибисов мельтешили над зелеными курганами. Всем нам было по пути.

Ягорлыцкий кут романтичен только по названию. Это совершенно голая степь, на краю которой у гладкого Тендровского залива стоят два домика. В одном живут Обмок с женой Марусей, другой предназначен для приезжих. Рядом в густой полыни прыгали серые кролики. Вдали на белесой воде залива сплошной темной полосой плавали утки. И на эту живую ниточку, про-

тянутую по горизонту, жемчужинками были нанизаны частые белые пятнышки — лебеди.

Опустилась холодная ночь, накрыла мир глухой подушкой. Призрачный заоблачный свет луны только усиливал ощущение одиночества и пустоты.

Мы долго сидели у теплой керосиновой лампы, покуривали, разговаривали.

— До войны я, бывало, и без ружья боялся зайти в заповедник, — говорил Обмок. — А теперь кого и с ружьем удержишь — все ничего. Ведь места у нас какие? Чуть не вся водоплавающая в Черноморском зимует, со всей Европейской части. Тут, да еще в низовьях Дуная, да на Каспии. Больше нигде... Весной гнезд — шагу не шагнуть. По четыре-пять на квадратном метре. Особенно на острове Орлове. Но и туда браконьеры, бывает, добираются, яйца воруют. Утки еще терпят, а чайки-черноголовки, если тронуть гнездо, сами потом свои яйца расклевывают. А ведь черноголовка очень полезна: лучше ядохимикатов поля от вредителей очищает...

Ночь была кромешная, мертвая. Непривычная, пугающая тишина все время стояла рядом. Ощущение заброшенности усиливалось влажным холодом нетопленной мазанки. Я собрал одеяла с соседних пустующих коек, забрался под них, спрятался от холода.

Когда проснулся, увидел солнце в окнах. Утро было тихое и удивительно теплое. С залива доносился разноголосый гомон большой массы птиц. Шумно порхала стая скворцов — с земли на крышу, с крыши на метеорологический столб.

За калиткой сидел на траве орнитолог Луцюк, собирал восьмигранные ящички, обтянутые сверху сеткой. Это были клетки Крамера — нехитрые приспособления, позволяющие контролировать инстинкт миграции. В эти клетки сажают птиц и оставляют наедине с электромагнитными счетчиками. Прыгнет птица на планку — контакт. Сколько раз прыгнет, столько прибор и запишет. Клетки Крамера позволяют вести наблюдения даже ночью.

Луцюк рассказал мне о недавних опытах, проведенных в Киевском планетарии. До этого считалось, что птицы днем ориентируются по солнцу, а ночью по звездам и магнитному полю Земли. Орнитологи путали звездное небо и ставили магниты, искажающие земное поле. А птицы все равно стремились в нужном направлении. Чем они при этом руководствовались — осталось загадкой.

Потом разговор пошел о бионике и перескочил на личные судьбы. И тут я узнал, что мой птицелов вовсе не из тех хилых чудаков, какими часто изображают беллетристы людей, влюбленных в природу. Когда-то он работал летчиком-испытателем. После

неудачного катапультирования медицина обрекла его на неподвижность. Упорством, долгими, очень болезненными упражнениями он вернул себе способность не только двигаться, но и прыгать, играть в футбол, спать под открытым небом, не простужаясь. Вернул все, кроме авиации. Тогда Луцук увлекся птицами. Тема его кандидатской диссертации — «Астронавигация ночных мигрантов» — даже звучит по-авиационному...

Днем Обмок подготовил моторку, чтобы переправить меня к наблюдателю Зиме. Луцук проводил до мостков. Так он и остался в моей памяти: высокий парень на низком пустынном берегу, одинокий, как маяк...

Мы тихо плыли по мелководью, оставляя за кормой длинную полосу мути. Под килем местами было не три фута, а, может, три миллиметра. Вот когда я понял, за что птицы любят Тендровский залив. Человек мог бы пройти здесь десятки километров, не замочив плеч. Тихая, редко замерзающая лагуна, отгороженная от морского наката 60-километровой Тендровской косой. Обилие водорослей. И среди этого мелководья низкие острова, куда не могут добраться лисицы.

Морское дно, как живая картина, все время реяло у самой поверхности, то темно-зеленое, то желтоватое от голого ракушечника, усыпанное белыми желваками лебединого кала. Бычки растерянно цетинились перед лодкой и стремительно ныряли в темень водорослей. Белые, коричневые, фиолетовые медузы, то как фуражки, то как детские надувные мячи, лежали на темно-зеленом ковре дна.

Справа вдоль горизонта тянулась узкая полоска берега, слева — такая же полоска острова Орлова. Орлов там нет. Весной на гнездовыхях шкодят не орлы — чайки-хохотуны. Они сгоняют птиц с гнезд и уносят яйца и птенцов.

Теперь все птицы на воде. Лысухи подпускали близко, иные уплывали из-под самой лодки, торопливо строчили крыльями и, жирные, не могли взлететь. Осторожные лебеди снимались с места за сотни метров, красиво, как на лубочных картинках, скользили по синеве пространства. Там, где они паслись, корабликами плавали белые перья.

Обмок выключил мотор и веслом стал подталкивать лодку к длинной подводной косе, белевшей впереди. В пронзительной тишине, слышные за полкилометра, шумели лебединые крылья — жжик, жжик. Море смеялось, усыпанное блестками, белыми пятнами лебедей, темным бисером утиных стай.

За косой привычно близкое дно стало быстро проваливаться в темную бездну. Начинался Ягорлыцкий залив.

Остались позади заросшие тростником Египетские острова, растаял в пространстве темный палец маяка на острове Долгом.

Все исчезло вокруг, даже горизонт. Белесое небо, белесое море. Вода угадывалась лишь где-то совсем рядом, да и то больше по медузам, похожим на модели космических кораблей. Обмок снова выключил мотор, и мы некоторое время парили в пространстве без тверди, словно оторванные от суеты мира световыми годами...

Четыре часа продолжалось это путешествие в никуда. Потом впереди показалась полоска берега. Стали попадаться птицы, и скоро мы въехали в темную массу лысух. Дно снова поднялось к самой поверхности. Последний километр ползли на киле, отталкиваясь шестом.

Два маленьких домика кордона Сторожевого — резиденции Зимы — стояли посреди проплешины у подножия голого кучугура. Неподалеку топорщилась небольшая березовая рощица, росло несколько акаций.

Наблюдатель Зима ремонтировал лодочный мотор на берегу.

— Кого еще привез? — крикнул он и снова уткнулся в свои железки.

Бледный закат повис над дальними колками, когда Зима кончил свое дело и мы познакомились.

— Виктор Григорьевич, шестого года рождения, служил у Буденного, — представился он. — Сейчас вечерять будем.

Зима принес кастрюлю мелкой нечищенной картошки, поставил на плиту и, когда вода закипела, набросал в нее соленых бычков. Ужин был готов.

Я вспомнил напутствия директора заповедника и спросил:

— Виктор Григорьевич, говорят, у вас биография интересная. Рассказали бы!

— Всякое бывало, — сказал он. — Сам я из казаков, хоть и родился в Очакове. Батька — кавалер Цусимского боя. Глухой вернулся... Рождественский — гад! Я б того адмирала порешил своими руками. Матросов бить!.. В двадцатом году я бежал в Красную Армию. Ординарцем был у командира сотни. Пока Крым брали, были нужны, а потом распоряжение вышло: всех недоетков — по домам. Пришлось идти рыбачить. После, уже в двадцать шестом, воевал с басмачами. А с тридцатого здесь объездчиком. А куда еще? В деревне копать — не по мне... В эту войну попал в казачий пластунский батальон. И кто-то удружил: перекинули в артиллерию ездовым. В начале сорок пятого — чмок! Очулся аж на Волге. Долечился и опять в заповедник. В сорок седьмом сюда приехал. А тут ни кола, ни двора — голы кучугуры. Сам поставил хибару, акаций насадил, порядок навел. Природа, она очень порядок любит...

— А где вы учились? Дело свое, говорят, больно хорошо знаете.

— Чего тут знать? Главное, глядеть надо внимательно. Этой

весной к экзаменам готовился, почитал кое-что, и про птиц, и про насекомых, и про травы. А Лидия Михайловна показывает жука: «Шо це таке?» А я готовился про хруща, а не про жука. Вот и срезался на жуке, до пятерки не дотянул.

— А спасты зверей или птиц приходилось? — спросил я.

— Не приходилось. А гибли на моих глазах много. Как-то осенью ударил мороз, на заливе — тонка склянка. Лысухи обмерзли, ни ийти, ни лететь не могут. Лезут друг на друга, давятся. Орланы налетели, вороны, лисица пошла, собаки. А человек не может: лед тонок. На лодке не пробьешься, потому что мелководе, а пешком потонешь: дно илистое. За три дня тысяч пять лысух погибло. Потом ходил глядеть — одни перья...

Он вдруг умолк, словно спохватился, закурил, открыл журнал, стал записывать. Я взглянул через руку, прочел: «Кордон Сторожевой. Тихо, мороз. В корыте вода замерзла. Ветер восточный. Наземный туман. На озерах кричат утки (благородные). Пять куропаток взлетели у обочины дороги. Зяблики и рябчики в полете на восток. В одном колке взлетели два вальдшнепа. Дрозды черные кормятся ягодами терна. Три орлана гоняют уток в сквозных озерах. Утки стаями летят на пресную воду: кряква, свиязь, чирок, широконоска. В одиннадцать часов ясно, тихо. Чувствуется в воздухе влага. На дворе бабине лето...»

За окном залаяла собака. Зима захлопнул журнал, вышел. Я не утерпел, приоткрыл страничку, прочел непонятный шифр: «12.04. ♂ бьются в воздухе из-за ♀ ...» Сообразил, что Зима может увидеть меня через окно подглядывающим, закрыл журнал и вышел на крыльцо.

Тихая куинджевская ночь нежилась на озерах. Луна запуталась в голых ветках акации. Два стога полукруглыми восточными мавзолеями вырисовывались на слабом, умирающем закате. Рядом в сарайчике спокойно вскрикивали во сне куры.

Я напился у колодца и пошел спать. Но долго еще слышал за стеной глухой голос Зимы, говорившего с кем-то по телефону.

— ...Ты приезжай завтра пораньше. Отвезешь в Прогнои. Да оленей покажешь. Меня уж знают корреспонденты, а тебе надо привыкать...

Проснулся от стука подводы. Утро было таким же, как вчера, тихим и теплым. Солнце светилось за вуальной дымкой. Над озерами, над заливом стоял звонкий стон бесчисленных стай.

— Сколько их там? — спросил я Зиму, тоже вышедшего на крыльцо.

— Вчера было тыщ одиннадцать. Собирайтесь, за вами приехали.



Зима прошел за дом, и оттуда сразу же послышалась его добродушная ругань.

— Тпру! Стоять, говорю! Браконьеры проклятые!

За домом на подводе сидел добродушный парень в телогрейке, уныло выслушивал наставления Зимы.

— ...Лысуха илом воняет, ее надо уметь готовить. Гарненько просмали, хай жир тече, аж обсмалится... Ты слушай, ты молодой еще, а я все знаю. Будете ехать, не разговаривайте, не гоните, пусть лошадь идет сама. Тогда олени не убегут, встанут и будут дивиться: что за чудачки едут.

Повернулся ко мне, сказал, не меняя тона:

— Садитесь скорей, время идет. Извините, Явдохи моей нету, а мне угощать нечем.

— Ничего,— сказал я бодро.— Максим Горький говаривал, будто душа голодного питается лучше, чем душа сытого.

— Горький бывал тут. На соленых озерах. Будете проезжать...

Наверное, Алексей Максимович был прав. Сразу, как тронулись, меня захлестнула поэзия.

Желтели голые песчаные откосы кучугуров, серебрились мхи, серая сухая трава похрустывала под колесами, пылали осенней листвой березовые колки. «Бабине лето» было в разгаре. Со всех сторон скрипуче трубили олени. Их живописные рога украшали чуть не каждую прогалину. Олени близко подпускали погромыхивающую телегу, вытянув свои гордые шеи и вытаращив глаза, подолгу стояли неподвижными истуканами. Но малодушно удирали при виде фотоаппарата.

Если бы олени имели представление о цивилизации, они, наверняка, подумали бы, что наши кони хватили лишнего,— так непонятно кружили мы вокруг колков в поисках хороших снимков. Олени не давались. От расстройства еще больше хотелось есть. Я махнул рукой, и мы поехали напрямик по дороге. И наконец-то как следует разговорились. Мой возница оказался наблюдателем соседнего кордона Геройского Григорием Козюрой, совсем молодым парнем, живущим неподалеку в маленьком одиноком домике вместе с женой Галей и дочкой Олей.

— Может, заедем поснидаем? — спросил он.

Скоро под симпатичные Галины улыбки, под непрерывное щебетание Оленьки мы ели свежую рыбу и запивали ее изумительным местным вином. В окно заглядывало солнце. Жизнь была полна предлести...

## ГЕРОИ И ПРОБЛЕМЫ

— Вон они, солепромыслы,— сказал Козюра, показывая на узкие полоски, стеклянно блестящие впереди.

Полоски вблизи оказались квадратными озерами, затянутыми с берегов пленкой соли, словно ранним ледком. Рядом мраморными саркофагами высились плотные соляные бурты.

Вот и я «на соли». Как долговязый очкастый парень когда-то, Алексей Пешков. Только семьдесят с лишним лет спустя. Вот оно, самое страшное место из всех, о каких писал Горький!

«Три квадрата земли, сажень по двести, окопанные низенькими валами и обведенные узкими канавками, представляли три фазиса добычи. В одном, полном морской воды, соль выпаривалась, оседая блестящим на солнце бледносерым, с розовым оттенком, пластом. В другом — она сгребалась в кучки...»

Все так. Повсюду: на сваях, на траве, прямо на серой жирной земле — маленькими солнышками вспыхивали кристаллы.

«...Из третьего квадрата соль вывозилась. В три погубели согнутые над тачками рабочие тупо и молчаливо двигались вперед. Колеса тачек ныли и взвизгивали, и этот звук казался раздражающе тоскливым протестом, адресованным небу и исходящим из длинной вереницы человеческих спин, обращенных к нему...»

Ничего этого я не видел. Была тишина. Только лошади всхрапывали сонно, да где-то далеко глухо постукивал трактор.

Семьдесят лет назад здесь озверевшие от каторжного труда люди злобно издевались над таким же, как они, голодным парнем, пришедшим сюда ради копейки на дорогу.

Первое, что мне довелось услышать «на соли», был смех. Он слышался из зеленого передвижного вагончика, к которому мы скоро подъехали.

Из вагончика вышел молодой мужчина, весело улыбнулся, протянул руку.

— Гаценко, рабочий.

— У вас тут начальство есть?

— А вон мастер-бассейщик. Во-он там транспортер ремонтирует. Иосиф Яковлевич! — закричал он. — Щербина! Тебя спрашивают!

Невысокий человек отделился от группы рабочих, пошел навстречу, на ходу вытирая руки ветошью. Не спросив, кто мы и откуда, пошел показывать свои владения.

— Вот наши бассейны,— говорил Щербина.— В тех рапа — рассол, значит. Здесь соль уже заготовливаем. Сгребаем бульдозером, грузим в вагонетки и по рельсам подаем к транспортеру. Потом выдерживаем в буртах. И пожалуйста, солите суп. Шесть тысяч тонн в год даем. Лучшей столовой соли...

Мне хотелось расспросить о былой каторге на солепромыслах. Но разговор не вышел. Потому что возница категорически потребовал немедленно ехать в Геройское: я со своим любопытством ломал ему какие-то планы.

Но судьба в тот день все же была милостива ко мне. Во дворе Геройского сельсовета я увидел четверых стариков на скамеечке. И сразу же подошел к ним с расспросами о прошлом солепромыслов:

— А чего, робили от восхода до захода, — охотно отвечали старики. — Теперь машины — делать нечего. А тогда все голыми руками. И босиком. А соль, она острая. Почему босиком? Если были ботинки, так одни на семью.

— Это теперь обувки в каждой хате, хоть грузовиком вывози.

— По полтиннику в день зарабатывали. Ну шесть гривен, не больше.

— Были некоторые, тачки возили по два центнера. Так по два рубля зарабатывали.

— Все равно пропивали.

— Помню каторжников пригнали. Как жара поднялась, зароптали: были, мол, на каторге, а такой не видели.

— Одно слово — Прогной. Это так раньше Геройское называлось. Прогнаны с правды рая, гнилое место...

Говорили в основном трое. Четвертый, высокий и сухощавый, только согласно помаргивал, подворачивая говорившим волосатое ухо.

— Я на почте работал, — наконец сказал он. — Полных тридцать лет. Тоже не сладко было, даром, что на почте. Бывало все пешком. Идешь за селом — спиваешь, в селе — молчишь. Услышит смотритель — беда... А вот скажи, почему так несправедливо устроено? Яка черепаха живет двести лет, а человеку, на ком все держится, такой короткий век?

Старики заморгали красными веками в ожидании, что я скажу. Будто я пророк какой и знаю все тайны жизни и смерти...

— Теперь бы пожить, да возраст не дает, — не выдержал один затянувшейся паузы.

Снова притихли, загрустили, и я поспешил переменить тему.

— Говорят, будто из вашего села вышло шесть героев? Расскажите о них!

Старики поглядели на того, что когда-то работал на почте.

— Петр Иваныч пусть и расскажет. Его брата немцы повесили. А племянник его, Костька Высовин, и есть главный герой.

Дядя знаменитого племянника улыбнулся, будто сощурился на солнце, сказал громко:

— А чего рассказывать. Вон школа через дорогу. У нее имя Кости. Там вся история как есть расписана...

Вскоре я сидел среди картин и фотографий Комнаты славы местной восьмилетки и с интересом читал рукописную историю села.

...Еще с XVI века запорожцы наезжали сюда за солью, и турки просили русского царя приструнить их за это «самовольство». Двести лет назад, после разгрома турок, началось заселение Кинбурнской косы. Переселялись беженцы из центральных областей России. И возникло село Прогнои. По одной версии от слова «прогнанные», по другой — от озер гнилых, «що нема в них ничого живого. И тому ще, що на тих озерах в стари часи гнули спины засланци, яки заживо гнили на проклятий каторжний праці».

Жители рыбачили, занимались скотоводством, работали на соли. Хлеб не сеяли, потому что не родился он на местных горячих песках. Трудная жизнь, должно быть, и породила в местных жителях упрямство и вольнодумство. Сколько прогнойцев было выслано в Сибирь, посажено в тюрьмы! Житель села Захар Григорьевич Бородин был одним из потемкинцев. Павел Софронovich Горбаченко в семнадцатом встречал В. И. Ленина на Финляндском вокзале, а потом участвовал в Октябрьском вооруженном восстании. Прогнойцы одними из первых в округе создали сельсовет, партийную и комсомольскую организацию. В годы Великой Отечественной войны здесь действовала подпольная группа. 126 прогнойчан награждены орденами и медалями, а четверо стали Героями Советского Союза. Среди них Павел Христофорович Дубинда — единственный в стране Герой и полный кавалер ордена Славы.

А после войны два уроженца села стали Героями Социалистического Труда. Вот сколько своих героев в этом селе; не меньше, чем в ином городе.

Вот почему Прогнои в 1963 году были переименованы в Геройское.

Я перевернул последнюю страницу сельской летописи и вышел из тихой, опустевшей школы. Был вечер. Солнце садилось за лохматые плетни. Пора было думать о ночлеге.

Меня приютил бригадир местного рыболовецкого колхоза «Победа» Федор Ножевников — сын недавно умершего Семена Ножевникова, участника знаменитого боя на крейсере «Варяг».

Вечером за большим круглым столом Федор Семенович неторопливо рассказывал о баркасах и шлюпках, о центнерах, о сетях — кошельковых, ставных, кефальных, бычковых, пузанковых, судаковых...

Тогда-то я впервые и услышал о проблемах, волнующих местных рыбаков. Несколько лет назад то ли из-за днепровских плотин, то ли из-за усилившихся заводских стоков начали резко падать уловы рыбы. Вырезуб, чехонь, белизна почти исчезли, другие помельчали. Тогда были установлены лимиты. Прежде, чем больше наловишь, тем лучше, а теперь четыре тысячи центнеров на весь лиман. Лимита рыбоколхозу хватает на месяц работы. Стали рыбаки уходить все дальше в Черное море. Стали промышлять камкой — водорослью морской, что штормами на берег выбрасывает. А кто и на солепромыслы подался.

— Мы понимаем: лиман — это питомник для рыбы, и лимиты — вынужденная мера. Но ведь и нас понять надо, — говорил Ножевников.

Потом разговорились о дельфинах.

— Одно время ловил их, — сказал он таким тоном, словно вспомнил что-то очень неприятное. — Ушел, не схотел, хоть и заработки большие были.

И мы начали вспоминать все, что знали об этих животных.

Теперь, после запрещения промысла дельфинов, даже трудно представить, как это люди могли смотреть на них словно на сельдку. Теперь, когда собраны все сведения о дельфинах, от древности до наших дней, об их удивительной доброжелательности к человеку, когда после первых же попыток изучить их стало ясно исключительное положение дельфинов в животном мире, — теперь трудно понять жестокость людей по отношению к ним. Это стало анахронизмом, так же, как, например, совершенно непонятная нам гастрономическая любовь карфагенян к собакам.

Люди убивали дельфинов, а дельфины, способные одним ударом убить человека, никогда этого не делали. (Эта загадка еще ждет своего разрешения.) Зато много раз они спасали тонущих людей, служили лоцманами и почтальонами. Известно немало случаев трогательной дружбы дельфинов с детьми.

И в прошлом, бывало, люди понимали, что дельфины — не как все животные. В Древней Греции, например, убийство дельфина считалось равнозначным убийству человека и каралось смертной казнью.

Теперь дельфины — предмет исследований. Стоило американскому ученому Джону Лилли только начать изучение этих животных, как он пришел к сенсационному выводу: «Пять лет научных исследований убедили меня в том, что дельфин... способен вести беседу с человеком». Сейчас все верят, что в будущем, и, может, не столь уж далеко, дельфины смогут помогать людям находить косяки рыб в океане, указывать местонахождение затонувших предметов и, может, даже заменять водолазов.

А пока что они учат нас многотерпимости, так необходимой в общении с иными существами, и как бы дают возможность репетировать будущие контакты с инопланетными цивилизациями. Ведь не исключено, что когда-нибудь космонавты в дальних перелетах встретят живые существа, разумные настолько по-своему, что их трудно будет понять. И тогда велик будет соблазн решить, что у аборигенов нет разума...

— Большие были заработки на дельфинах,— повторил Ножевиных.— А я не смог. Сильно жалко их убивать. Плачут, как люди, слезами...

Утром, до восхода, я отправился с Федором Семеновичем на причал. За лиманом, за стеной тростников на островах поднималось солнце. Домашние утки бродили по истоптанному мелководью. Двое рыбаков на мостках перебирали сухую сеть. У берега дремали на гладкой воде десятки лодок, колхозных и частных. Возле одной из них копошился пожилой медлительный дядька, собиравшийся за тростником. Он согласился доставить меня за десять километров в Васильевку, откуда на местном «такси» мне предстояло добраться до Покровских хуторов. А это уже напротив Очакова, куда и был мой путь.

Васильевка — деревня на берегу лимана, как и Геройское, только в два раза меньше. В ожидании «такси» я зашел в правление местного рыболовецкого колхоза с необычным названием «Свидомисть» («сознательность»). И вызвал там если не переполю, то интерес чрезвычайный.

— Лимиты жестки,— начали жаловаться и председатель колхоза Ляшенко, и его заместитель Красовский, и секретарь парторганизации Фокин, и оказавшийся при этом культработник Агафонов, требуя, чтобы их поняли, и надеясь, что новый человек, может быть, подскажет какой-нибудь выход.

...Жители Кинбурнского мыса в полном смысле живут рыбой. Других занятий у них нет, потому что вокруг ни земель для пашен, ни лугов для скота. Один песок. Испокон века деревни здесь были повернуты в сторону моря — единственного кормильца. Жесткие лимиты, установленные в последние годы, ударили прежде всего по заработкам рыбаков. Рыбоколхозы на лимане начали терять специалистов. Но если по ту сторону лимана, где плодородные земли, рыбаки уходят в землепашцы, то кинбурнцам деваться некуда. Они не возражают против ограничений лова, но настаивают, чтобы лимиты были не общими для всех — кто успел, тот и съел,— а чтобы распределялись между рыбоколхозами по справедливости. С учетом возможностей трудовой занятости людей. И еще рыбаки никак не поймут, почему им, для кого рыболовство — источник жизни,— запрет, а так называемым любителям — полная бесконтрольность...

Они выложили на стол папку с Правилами рыболовства в открытом море Черного моря, утвержденными приказом Министерства рыбного хозяйства СССР от 27 января 1967 года. Открыли на пункте седьмом, и культработник Агафонов стал читать, прерываемый частыми репликами.

— «Спортивный и любительский лов рыбы для личного потребления (без права продажи)...»

— Еще как продают! Прямо на рынке.

— «...разрешается всем трудящимся...»

— Иные только этим и трудятся.

— «...бесплатно во всех водоемах, за исключением рыбопромысловых участков...»

— Вот-вот! А ловят бок о бок с нами.

— «...с соблюдением установленных правилами рыболовства мест, сроков, орудий и способов лова, а также запретов на вылов отдельных видов рыб...»

— Как же, любители только и делают, что выбирают эти виды...

Страсти далеко не остыли, когда мне пришлось покинуть рыбаков.

Местное «такси» оказалось обыкновенным крытым грузовиком со скамейками в кузове. Машина скакала через кучугуры, точно конь, не разбирая дороги, шла в Покровские хутора через Покровку. Это примерно то же, что с Арбата к Большому театру ехать через Сокольники. Но пассажиры не роптали, даже радовались, ибо, как мудро заметила соседка в платочке, «пешком еще труднее».

Платочки и косыночки, эти неизменные головные уборы от Клайпеды до Покровских хуторов, дергались на ухабах так, что было страшно за головы. Но головы, ничего, держались. Даже слышался смех.

Покровка — это не село, а, может быть, сотня дворов, разбросанных на довольно большом пространстве. Машина останавливалась чуть ли не у каждого дома, садились новые люди, рассовывали под скамейки перевязанные корзинки.

Мы ехали мимо соленых озер, поросших тростником. Через сплошное сосновое мелколесье на песках, что дотянулись сюда от самой Каховки. В этих сосенках будущее полуострова. Теперь все верят: леса тут будут. Боры поднимутся уже через десятилетия. И сухой местный воздух настоится на сосновых ароматах.

Вот эта мысль о будущих лесах и подсказала мне выход из «Кинбурнского тупика». Я не претендую на приоритет, ибо за время путешествия по Кинбурну не раз слышал отголоски этой идеи. Думается, что полуостров очень скоро превратится в один из санаторных и туристских центров страны. Обилие солнца, бу-

душие леса, озера с запасами лечебных грязей, соседство соленого моря и пресноводного лимана — это ли не находка! Да если еще прибавить виноградники, создание которых на местных песках, как доказали ученые, вполне возможно, то Кинбурн может стать Рижским взморьем в квадрате. Предприимчивые «дикари» уже успели оценить эти места: что ни лето, валом валят на местные пляжи...

Неожиданно машина встала. Я выпрыгнул из кузова и сразу по щиколотку увяз в мягком песке. У ног лежало море. В маленьком заливчике, огражденном валами, стояла шаланда, возле которой мирно плавала нутрия, высунув из воды усатую морду. На пустынном берегу стоял столб с обязательным предупреждением: «В районе пристани купаться строго воспрещается!» Порядок есть порядок.

Я прошел по песчаной насыпи и сел там на кромке берега, глядя в море. И вновь, который раз за эти дни, замельтешили передо мной горьковские образы: крикливый хохол и матерщинник укладчик с солепромыслов, дед Архип со своим горемычным Ленькой, отчаянный Челкаш и, конечно же, бойкая Мальва... Ох уж эта Мальва! Ведь где-то здесь рзвилось это загорелое мокроволосое божество...

А море смеялось бесчисленными золотыми чешуйками. По горизонту далекой тенью лежал северный берег лимана. Там был Очаков. Оттуда уже спешил за мной белый теплоход.

## У СЧАСТЛИВЫХ БЕРЕГОВ

Под бравурные марши транзисторов я втискивался в парутинский автобус. Какой-то парень подтолкнул меня сзади, схватившись руками за поручни. Громыхавший транзистор он держал в зубах. Я изогнулся и выключил звук. Парень завращал глазами, но ругаться не стал. Должно быть, еще не забыл басню о вороне и лисице.

Я, собственно, не против достижений радиотехники. Даже понимаю, что парням просто некуда деться: нынче парень без транзистора все равно что прежде без гармонии. И самому ему скучно, и девчонок больше нечем развлечь. Но если для гармонии требовалось умение и хоть какой-никакой слух, то транзистор уравнивает всех: музыкантов с теми, кому «медведь на ухо наступил», людей с мыслями и без оных.

Едва автобус отвалил, как захрипел репродуктор: шофер тоже оказался любителем музыки. Так и ехали мимо белых сел и лесных полос, мимо полей, зеленых, в озимях, ровных, словно гигантские футбольные поля. Во мне закипало что-то пьяно-отчаян-



ное, и все время лезли в голову бодрые стишки о транзисторах, читанные как-то в районной газете: «Бывало, глушь томила уши и на гульбе и на косьбе. Бывало, радио послушать в одной сбиралися избе. Бывало, шум и тот — сезонный. А ныне отошли душой... Транзистор двухдиапазонный привез Савелию меньшей. И от недели до недели антенна музыку сосет. Идет по улице Савелий — под мышкой радио несет... Теперь болеет дед Савелий не за себя — за Метревели...»

Стихи не помогли. Я сошел в Парутине, ненавидя все радиоприемники, радиоточки и, кажется, даже радиаторы.

Деревенская тишина оглушала и успокаивала. Солнце пекло полетному. Вдалеке между домами нежился Бугский залив. У сельмага, где пивными кружками продавалось вино, толпились поклонники Бахуса. После того как я с великим удовольствием, легко, словно кефир, выпил кружку этого превосходного и, как уверяла продавщица, почти безалкогольного напитка, транзисторов мне стало как-то даже не доставать.

— Ольвия, Ольвия! — напевал я, смакуя это мелодичное слово.

Собаки прямо ревели от обиды во всех дворах, будто никогда не видели экскурсантов.

Ольвия — по-гречески значит «счастливая». Счастливый берег, счастливый край...

У меня были все основания думать, что за две с половиной тысячи лет это местное название не потеряло своего значения.

— Позвольте, а где же тут Ольвия?

— А вон там бугры, — показал мне мальчишка.

Вскоре я подошел к сетчатому заборчику и остановился у железной калитки. В том самом месте, где две тысячи лет назад были северные ворота шумного города.

Мысль человеческая — что машина времени. Я присел на камень, закрыл глаза и мгновенно унесся на ее крыльях в туманную глубь веков...

...Итак, я подошел к Северным воротам. Суровые гоплиты в блистающих поножах стояли у высоких башен. Серая поздравитая стена единой скалой тянулась вдоль глубокой балки влево, к лиману, и вправо, в степь. Там она остро поворачивала на юг, чтобы вдали, за южной цитаделью, выйти к воде, образовав огромный треугольник.

Высоки стены Ольвии. Вероломные скифы, как осенние волны Понта, временами бьются о них и откатываются, не в силах одолеть несокрушимых твердынь.

Нечасто открываются тяжелые ворота. Но сегодня они распахнуты настежь. Сегодня — праздник Великий Дионисий.

Незамеченный, я прошел сквозь толпу. Блестела на солнце

главная улица, пестрая от утоптанной щебенки и битой черепицы. Справа лежал тротуар из крупных камней, гладких, окатанных босыми ногами и сандалетами, словно морским прибоем. Под плитами у края дороги журчала вода. Безоконные дома тянулись сплошной стеной, изрешеченной сухой каменной кладкой. Местами стены разрывались темными проемами входов, в которых, словно стражи, стояли колонны. За колоннами на светлых квадратах дворов-перистилей суетились рабы, исчезали в тени портиков. Со вторых этажей из женских половин — гинекеев доносились капризные голоса хозяек. Мужские помещения — андроны были тихи. Какой мужчина в праздник усидит дома?!

Улица напрямик вывела к Теменосу — главному культовому району. Здесь стоял храм Зевса, высился величественный храм Аполлона Дельфиния, окруженный колоннадой, дымились свежей кровью прямоугольные жертвенники. Неподалеку, возле небольшой роцицы, начиналась аллея постаментов. Мраморные плиты на ней были изрезаны плотными надписями посвящений и законов.

«Совет и народ постановили 20-го числа, архонты и Семь предложили: так как и Иросонт, отец Протогена, оказал городу многие и важные услуги и деньгами и деятельностью, и Протоген, унаследовав от отца благосклонность к народу, всю жизнь продолжал говорить и действовать лучшим образом...»

Декрет перечислял сотни и тысячи золотых, одолженных городу благодетелем Протогеном, сообщал о том, что он привял на себя общественное управление и должность казначея, что распорядился важными городскими делами, а заодно и общественными суммами, что долги ему простирались до шести тысяч золотых. Он постоянно прощал долги и, похоже, ничуть не страдал от этого.

Я вышел на огромный квадрат агоры — базарной площади с ее гигантской стоей, предназначенной для собраний, выступлений философов, городских приемов и встреч. Это здание шестидесяти шагов в длину и двадцати трех в ширину восхищало даже видавших всякое заезжих афинян. На площади ораторствовал какой-то местный болтун, говорил о том, что и без него все знали: как однажды Диониса захватили морские разбойники и заковали в цепи, как оковы сами свалились с его рук, а вокруг мачты обвился плющ и на парусах повисли виноградные гроздья...

— Несут! — вдруг загудела агора.

По главной улице шествовали бородатые ольвиополиты, несли статую Диониса. Бог смотрел на толпу белыми мраморными зрачками и вроде чуть улыбался.

— Слава великому Дионису! — ликовала толпа.

— Гимн, гимн богу винограда и вина!

— ...Ты оплетаешь реки потоками! Ты, хмелея, волосы нимф перетягиваешь узлом змеиным!..

И сразу стало видно, что ольвиополиты уже давно хватили свеженького и только ждали этой минуты, чтобы отбросить напускную чопорность. Как шквал раскачивает море, так появление мраморного Диониса взметнуло страсти. Послышались пьяный хохот, вольные шутки. Сегодня в честь бога ольвиополиты освобождались от строгой нравственности.

Вслед за покачивавшимся на руках Дионисом толпа потянулась к выходу в степь, к загородным усадьбам и виноградникам.

Я поднялся по зеленому склону на Зевсов курган, стал глядеть с высоты, как толпа вываливалась через Северные ворота и рассыпалась шумной оравой по вытоптанному пыльному полю.

На стенах и башнях маячили фигуры гоплитов. Далеко под горой, в Нижнем городе, у блескучего тихого лимана рабы вытаскивали на берег черное тело триеры со свернутым парусом. Не дымили печи гончаров. Опустели торговые ряды на агоре. Тишина ложилась на красные черепичные крыши «вечного города»...

— ...Вы кого ждете?

«Машина времени» бесцеремонно выдернула меня из вековых глубин. Я открыл глаза, поднялся с теплого камня. Передо мной стоял парень в выгоревшей тельняшке и пыльном пиджаке на одно плечо.

— Вы кого ждете? — снова спросил он.

— Директора.

— Его нет. Сегодня выходной.

— Тогда я сам пойду погляжу.

Ольвия, Ольвия! Серые камни, тронутые тысячами рук, серая земля, нашпигованная черепками и костями, пропитанная кровью, слезами, потом.

Ольвия, археологический рай. Город, существовавший тысячу лет, мечтавший о вечности и исчезнувший под степной пылью.

Когда город живет, он не замечает своей старости. Как человек, который ежедневно смотрится в зеркало. Но археологи, сняв земные слои — пласты тысячелетий, видят в раскопе следы совершенно чужой жизни. И тогда познается вся глубина вечности, страшная сила времени, истирающая даже камни.

Живой верит в жизнь. Нас потрясает историческая неизбежность забвения. Мы ищем средство против тирании времени. «Как сохранить дыханье розы алой, когда осада тяжкая времен неизбежные сокрушает скалы и рушит бронзу статуй и колонн?» — спрашивал великий Шекспир. И подсказывал ответ: «Но светлый облик милый спасут, быть может, черные чернила!»

Ольвия! Мертвый город. И все же счастливый. Мало ли городов исчезло не описанными. Об Ольвии писали многие. Вот здесь, по этим окатанным камням, ступал Геродот. Я хотел и боялся прикоснуться к ним, хотел и боялся вызвать лавину полубылей-полулегенд, что живут в каждом из этих камней.

Муравью все равно где ползать: по валуну или по груди Венеры Милосской. Есть и люди, как муравьи. Те, кто не знает. Знания, основанные на написанном, вот что способно спорить со временем. Вот что спасает от бездонности забвения.

Шагая меж квадратных фундаментов на дне глубоких раскопов, я будто листал увлекательную книгу.

Ольвия! Ей повезло при рождении. Но страшным был ее конец. Века орлиными крыльями шумели над руинами Ольвии. Тысячу лет жила она, еще тысячу лет лежала нетронутыми развалинами. Только время от времени грабители нарушали тишину некрополя.

В XVI веке пришли турки. Им понадобились камни для крепостей, и они начали разбирать старые стены. Двести лет Ольвия была каменоломней. А потом над ее жалкими остатками зазвучала русская речь, и впервые древних камней коснулись добрые руки ученых. Паллас и Сумароков, Сухтелен и Уваров, Забелин, Тизенгаузен, Ястребов, Кулаковский, наконец, Фармаковский — вот имена людей, чьими усилиями история забытого города возвращена людям.

Но особенно подробно она изучена за последние полвека. Древние холмы объявлены заповедными. Что ни год, сюда приезжают московские, киевские, ленинградские археологи, и сухая земля каждый раз открывает новое. Что ни лето, к древним холмам прорывается десятитысячная толпа туристов.

И я, частица этой толпы любопытных, восхищенный бродил меж камней, остатков стен, мостовых, колодцев, словно плыл сквозь зыбкие волны истории. Пока не наткнулся на столб с дощечкой. Надпись настойчиво требовала все случайные ценные исторические находки тотчас сдавать администрации. С этого момента я уже не мог смотреть по сторонам — только под ноги. Так в лесу мы с удовольствием слушаем птиц, радуемся глубине неба, блеснувшей меж ветвей, изумрудности листвы, пропитанной солнцем. Пока не находим первый гриб.

Теперь я ковырялся в сухих откосах, поднимал каждый черепок. Мне уже казалось совершенно невозможным уехать из Ольвии без какой-нибудь древней штучки. Черепков вокруг было сколько угодно; они лежали большими валами, как осенняя листва, сметенная с парковых дорожек. Любой обломок насчитывал не меньше двух тысяч лет. Но какая же это ценность, которую никто не ценит? Я искал чего-нибудь особенного. Мне мерещились зо-

лотые монеты с таинственными ликами или на худой конец чернолаковые вазы с древними рисунками...

От иллюзий избавил Толик, местный деревенский парнишка, бродивший по развалинам с карманами, набитыми черепками.

— Не, золотые не попадаются, — заверил он.

— А что ты нашел?

— Ничего, — сказал Толик и отвернулся.

Я отдал ему конфеты, что были в кармане, и получил взамен малюсенького зеленого дельфинчика — мелкую медную монетку ольвиополитов. Потом благодарный Толя подарил мне превосходно сохранившийся обломок с тонкой ручкой от чернолакового килика и красный черепок с коричневым узором.

— Зачем ты их собираешь?

— А так.

И я понял, что он, возможно, один из тех парутинцев, без которых ненасытная туристская жажда сувениров осталась бы неудовлетворенной.

— Но ведь черепки, должно быть, нужны?

— Что вы! — удивился Толя. — Их колхоз вывозит в коровниках дорожки делать.

Я сидел на красной куче разбитых амфор и не знал, что думать. «Конечно, торговля сувенирами — мелочь», — утешал я себя. И тут же задавался новым вопросом: а почему бы не позаботиться о туристах? Вот если бы взяли такой черепок, да хорошенько отмыли, да написали на нем: «Ольвия. V век до нашей эры», да помазали бесцветным лаком, чтобы выглядел новеньким. Кто бы не выложил за него двугривенный? Что куплено, то памятнее и дороже. Покупаем же мы в Ялте окатанные камешки, которые отличаются от тех, что бесцельно лежат на берегах, лишь надписью «Привет из Крыма». А если бы нашли мастера, да сделали бы небольшую амфорку или копию древней чаши для вина, да вмазали в ее стенку подлинный черепок с указанием места и времени, кто бы из туристов, добравшихся сюда, пожалел денег за такой сувенир?

Древность обладает особым поэтическим ароматом, будоражащим мысль и воображение. Старинная вещь — сама по себе ценность. Мы хотим платить за древности. А хранители Ольвии этих денег не берут. Почему? Чтобы выяснить эту странность, я, несмотря на выходной, пошел разыскивать местное начальство. Это оказалось не просто, ибо на тридцать три гектара Ольвийского заповедника начальников и подчиненных было всего двое: заведующий Борисов и научный сотрудник Бураков. Второго из них мне удалось застать дома.

— Какие сувениры?! — удивился Бураков. — Мы даже за вход платы не берем. И экскурсоводов у нас нет. Сам хожу рассказы-

ваю, когда туристы приезжают. Бесплатно, конечно. А что делать? Интересуются же люди. Камни молчат. За них ведь говорить надо.

— Но почему так?

— Потому что заповедник принадлежит Институту археологии Академии наук Украины. Вот если бы Министерству культуры, как Херсонес, тогда бы даже и сторожа дали...

Мы живем в эпоху, когда достижениями науки интересуется не только узкий круг специалистов, но все больше и широкие массы. Толпами они ходят и ездят по стране, не гнушаясь никакими видами транспорта. Стоит журналу «Наука и жизнь» расписать о какой-нибудь глубинке, как тамошние краеведы уже криком кричат от нашествия «дикарей». Эти массовые эпидемии любопытства порой не на шутку пугают ученых, и некоторые уже начинают предпочитать популярности безвестность и затворничество.

Но в наше время всеобщего торжества информации заповедные участки не скрыть за горами, за долами. Выход один — превратить «дикарей» в нормальных, организованных туристов. Тем более что подавляющее большинство их сами жаждут этого, готовы ночевать не в палатках, а в пансионатах, питаться в кафе, а не у костров, пользоваться услугами экскурсоводов, приобретать сувениры и платить те самые деньги, в которые, как говорят, упирается организация всех этих услуг.

Были же до революции в Одессе, Очакове и здешнем селе Парутине мастера ольвийских подделок. Их «произведения», выдаваемые за подлинные, покупали не только любители старины, но даже крупнейшие музеи. В 1896 году одесские перекупщики продали парижскому Лувру за 200 тысяч франков «золотую тиару скифского царя Сайтаферна», якобы найденную в Ольвии, до того изящную и тонкую, что крупнейшие специалисты мира долгое время признавали ее подлинной. Здесь, в Парутине, существовали даже целые подпольные мастерские по изготовлению «древних» монет.

Если прежде без всяких декретов находились мастера ольвийских подделок, то неужто теперь нельзя организовать в Парутине производство поделок? Ведь между подделками и поделками нет особой разницы, кроме той, что одни выдаются за подлинные, а другие продаются как оригинальные сувениры.

Ольвия имеет все основания стать одним из туристских центров страны, распространяющим знания, воспитывающим патриотизм и приносящим доходы...

## ПОСЛЕДНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Очаков — прощание с реками. Здесь под крутыми обрывами воды Днепра и Буга сливаются с черноморскими. Очаков — последний город на моем пути. Я ходил по его сухим улицам с чувством студента, сдавшего последний экзамен. С тихим восторгом осматривал пыльные экспонаты местного музея, от склеенных амфор до заповедей красногвардейца, где следом за «Долой буржуазию!» идет столь же категоричный пункт — «Долой пьянство!». Отдыхал в скверах, еще густых и тенистых. Любовался новым почтамтом, магазинами, кинотеатрами, Домами культуры. Глядел с высоты берега на мачты судов у многочисленных причалов.

В Очакове, как и в большинстве небольших районных городков, есть свой райпромкомбинат и всякие промартели. Но главное предприятие здесь — рыбокомбинат, раскинувший корпуса по низким берегам залива. Рыбу свозят сюда со всего лимана, с широких акваторий Черного моря. Именно здесь впервые в Советском Союзе началась переработка черноморского моллюска — мидии, этого чрезвычайно щедрого «дара моря». Начало оказалось успешным. Консервы из мидий пользуются широким спросом у нас в стране и за рубежом...

Был ясный воскресный день. На лотках местная промышленность торговала босоножками. Меж магазинов сновали домохозяйки с пузатыми сумками. Ребята на обочине дороги, шурша болоньями, громко обсуждали проблему досуга. Я позавидовал этим миллионерам свободного времени и пошел к берегу, туда, где у причалов рыбокомбината покачивались мачты судов.

Море штормило. Серый простор был заштрихован белыми гребнями волн, и лодки рыбаков-любителей бодали их острыми высокими носами. Вдалеке от берега столбом стоял одинокий маяк. Плыл большой пароход с желтыми трубами. Полудугой лежал низкий остров, тот самый, что был насыпан вручную еще в екатерининские времена. За ним, где-то между небом и водой, плавала в мареве пространства серая черточка кинбурнского берега.

«Кинбурнска коса вскрыла первы чудеса», — вспомнилась старая солдатская песня. И ожила в памяти глубина истории, та, что нередко, словно корни, питает наше самолюбие, нашу уверенность и мечты наши.

...Еще в XV веке крымские татары построили здесь свою Каракермен — «черную крепость». Вскоре пришли турки, переименовали крепость в Очаков и превратили ее в плацдарм для набегов на украинские села. Очаков громили запорожцы атамана Дашкевича, повстанцы Семена Палия, русские войска под руководством фельдмаршала Миниха. Но крепость каждый раз возрождалась,

оставаясь все тем же разбойничьим гнездом янычар. Последнее сражение с турками началось там, на Кинбурнской косе.

Судя по старым картам, в те времена коса была длиннее и ближе подходила к Очакову. Море размыло песок, ветер развеял и засыпал шканцы. Остались лишь камни. Время стерло из памяти людей ужас кровопролитных стычек и долгой осады. Остались сухие строки реляций, безобидные тесаки в музейных витринах да бодрые солдатские песни.

«Флот турецкий подступает, турок на косу сажает. Как в день первый октября выходила тут их тьма... Но Суворов, генерал, он не спал и не дремал, свое войско учреждал, турок больше поджидал. Приказ только получили, турок били и топили, а которых полонили и оставших порубили... С предводителем таким воевать всегда хотим...»

Не знаю, почему время сохраняет только бодрое, радостное, героическое. Ведь война всегда война. Недаром Державин в стихотворении «На смерть Суворова» писал: «Бранна музыка днесь не забавна».

В местном краеведческом музее, расположенном в старой турецкой мечети, на огромных мраморных досках написаны имена убитых и раненых офицеров и приведены цифры русских потерь — больше трех с половиной тысяч человек. В списках раненых — генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов и генерал-майор Голенищев-Кутузов.

Вот какой крови стоили эти берега!

А сколько ее было потом!

Очаков не терял стратегического значения, оставался воротами в Днепровско-Бугский лиман во все войны. Вплоть до последней — Великой Отечественной.

Но даже не особое значение Очакова бросало на него романтический отблеск. Что бы я ни делал здесь, о чем бы ни думал, все время чувствовал присутствие некоего «трагического восторга». И я знал, откуда он, — от тех высоких слов, произнесенных в глухом зале одноэтажного особняка, выстуженного февральскими ветрами 1906 года: «Высокая радость и счастье наполняют душу, и я приму смерть!»

Город Очаков — крейсер «Очаков» — лейтенант Шмидт — остров Березань — четыре бусины на нитке истории, четыре звена одной цепи. Заинтересовавшись любым из них, нельзя не увидеть остальные.

И я все думал о севастопольском рейде с черными амбразами береговых фортов, о стройном корабле под красным флагом, об аккуратном морском офицере с тонким интеллигентным лицом. Ходил по очаковским улицам, по которым водили его под конвоем в накинутой на плечи матросской шинели, стоял возле дома, где



он был приговорен к смерти, возле памятника с фигурой Шмидта. И подолгу глядел на серый морской горизонт, где за дымкой пространства прятался остров Березань. Туда стремился я, подгоняемый новой для себя тоской...

На Березань меня подкинули на пограничном катере.

Добрый час мы прыгали по волнам. Усилия ветра и мотора взбивали за кормой высоченные волны, которые едва не ставили на попа черные лодки рыболовов-любителей. И все четче вырисовывался впереди длинный высокий силуэт острова, похожий на крейсер без надстроек, повернутый форштевнем на юг.

У крутого берега оказалось мелководье. Катер с размаху въехал в песок и замер в двух метрах от кромки суши. С высокого носа я спрыгнул в мелкую воду. Шумел ветер, шипели волны, шевелясь на отмели тысячами змей. Катер ушел, и я остался один на целом острове. Как Робинзон.

Остров и впрямь оказался игрушечным. Ровным, как стол, чуть наклоненным к северу. И голым — без деревца. Я тихо шел по густой траве и думал о тысячелетиях, так просто перепутавшихся на этой сухой земле. Возле прямоугольных археологических раскопов извивались заросшие травой окопы минувшей войны. Неподалеку от серых камней — остатков древних домов — высились монолиты недавних капониров и дотов. А в одном месте я нашел осколки бомбы, лежавший на осколке амфоры.

Березань была первым клочком Причерноморья, где поселились древние греки. Тогда, в VII веке до нашей эры, он назывался Борисфенидой и был, возможно, полуостровом.

Греческое поселение просуществовало здесь двести лет. Потом люди переселились в соседнюю богатую Ольвию. На Борисфениде оставалось только несколько семей при торговой фактории — перевалочном пункте древних купцов.

Позднее остров снова обезлюдел. Время от времени приходили завоеватели и скоро уходили: на острове не было воды. И все называли его по-своему. Для византийцев он был островом святого Елевферия. Для турок — Бюрю-Узень-ада, «остров волчьей реки». Возможно, отсюда и идет его нынешнее название. А может, от древнегреческого Борисфена — Днепра. Или от иранского (скифского) Брезант, что значит «высокий»...

Перед Великой Отечественной войной на Березани располагалась батарея береговой обороны. В сентябре 1941 года фашисты подходили уже к Перекопу, а моряки-артиллеристы все стояли на своих боевых постах, держа под огнем побережье, не пуская вражеские суда в лиман. Огромные ниши-склады, выбитые в плотном ракушечнике, были полны снарядов, артиллеристы не жалели их, вели огонь даже по отдельным автомашинам противника, не давая ему возможности подойти к берегу. Это была роскошь, но

все понимали, что при отходе боезапас все равно пришлось бы взрывать.

По ночам моряки не спали, ждали вражеских десантов. Но фашисты, должно быть напуганные плотным огнем батарей, не решились штурмовать остров.

Однажды ночью к Березани подошел тральщик из осажденной Одессы, доставил приказ об отходе. Моряки взорвали все, что мог бы использовать враг, и покинули Березань.

С тех пор остров пустынен. Зарастают травой старые форты и казематы, осыпаются своды, выдолбленные в древнем ракушечнике.

Сейчас Березань известна главным образом как остров памяти лейтенанта Шмидта, расстрелянного здесь 6 марта 1906 года вместе с тремя товарищами по восстанию.

Ради того чтобы поклониться земле, впитавшей кровь этого благороднейшего человека, сюда каждое лето приезжают экскурсанты. Ради памяти Шмидта здесь стоял палаточный городок студентов Одесского строительного института. Студенты своими руками и на свои средства строили памятник Шмидту. 11 августа 1968 года он был открыт. В тот день на острове былолюдно, как никогда за всю его историю.

Я нашел место, где был этот городок, по сохранившейся арке и квадратам на земле — от палаток. На юг вела хорошо протоптанная дорога. Она кончалась там, где кончалась земля и у кромки обрыва стояли вплотную друг к другу три белых бетонных треугольника, напоминавшие остроконечные паруса яхт. Это и был знаменитый памятник, о котором столько говорили и писали в последнее время. Я долго стоял возле него, слушал шум ветра и думал о Шмидте...

С точки зрения всех «здравомыслящих», он был странным, этот тридцативосьмилетний человек. Знающий жизнь, красивый, он без памяти влюбился в случайную вагонную спутницу. Образованный и преуспевающий в жизни, Шмидт «полез на рожон» со своей речью на кладбище, а потом согласился возглавить восстание, явно обреченное на провал... Таким он выглядит в глазах «здорового смысла».

Но люди судят о других чаще всего по себе. Для жулика все вокруг воры. Честный человек надеется на порядочность людей даже при безнадежности. Шмидт верил, что адмирал Чухнин не осмелится стрелять в безоружных, потому что сам он этого не сделал бы.

Можно осуждать прекраснодушие Шмидта. Но лучше поклониться его честному мужеству. Идя на заведомый провал, он показал и современникам, и потомкам, каким должен быть человек в человеческом обществе.

Шмидт был как Данко, вырвавший свое сердце ради людей. Но мне он не представляется «великомучеником» идеи. Поступить иначе, изменить чести и правде — вот что было для него мучением. Он естествен. И да простят мне строгие критики, чем-то напоминает легендарного Иешуа из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». «Правду говорить легко и приятно», — утверждал перед смертью бродячий философ Булгакова. И я не удивился, прочитав почти то же на березанском памятнике: «Грядущей смерти я не боюсь — умереть за правду легко».

Шмидт при жизни стал легендой, неожиданной и яркой, как взрыв. Сколько людей ораторствует на площадях и в книгах, тщетно добываясь признания! Шмидт произнес только одну речь, которую потом революционеры повторяли, как клятву.

Это случилось 20 октября 1905 года на сева­стопольском кладбище при похоро­нах расстрелянных у местной тюрьмы двумя днями раньше. Тогда над скорбной толпой поднялся стройный офицер и заговорил:

— ...Теперь их души смотрят на нас и вопрошают безмолвно: что же вы сделаете с этим благом, которого мы лишены навсегда, как воспользуетесь свободой, можете ли обещать нам, что мы последние жертвы произвола?.. Клянемся им, что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав...

— Клянусь! — выдохнула толпа, удивленная, восхищенная, потрясенная.

— Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение свободы нашей!.. Клянемся им в том, что свою свободную общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда!.. Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, а что мы все отныне будем равные, свободные братья великой свободной России!..

— Клянусь! — грозно отвечала толпа.

А через четыре с половиной месяца здесь, на Березани, грохнул ружейный залп, и упали четверо у грязных столбов: утонченный интеллигент лейтенант П. П. Шмидт и «мужики-моряки» С. П. Частник, А. И. Гладков, Н. Г. Антоненко...

«Что же давало нам убеждение в необходимости, в полезности нашего протеста? — говорил Шмидт на суде. — Откуда мы почерпнули ту высокую радость, которая осветила всех нас, несмотря на всю грозность надвигавшихся событий? В чем была наша сила, идущая, как казалось, вразрез со здравым смыслом? Сила эта была в глубокое, проникнувшем все мое существо и тогда и теперь, сознании, что с нами русский народ. Да, с нами русский народ, весь, всюю своею стомиллионною громадою. Он, истощен-

ный и изнемогающий, голодный, изрубцованный казацкими нагайками, как страшный призрак нечеловеческих страданий, простирал ко мне руки и звал.

Я не знаю, не хочу, не могу оценивать все происшедшее статьями закона. Я знаю один закон, закон долга перед Родиной...»

«...Сегодня принял приговор в окончательной форме, вероятно, до казни осталось дней 7—8,— писал он З. И. Ризберг.— Спасибо, что приехала облегчить мне последние дни. Живи, Зинаида. Забудь тяжелые дни, люби жизнь по-прежнему... Я совершенно счастлив и покоен.

В моем деле было много ошибок и беспорядочности, но моя смерть все довершит, и тогда, увенчанное казнью, мое дело станет безупречным и совершенным.

Я проникнут важностью и значительностью своей смерти, а потому иду на нее бодро, радостно и торжественно».

«Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей Родины,— писал Шмидт накануне казни.— Позади за спиной у меня останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную Россию».

Он угадал и свою судьбу, и будущее страны. Теперь эти его слова блещут дюралем на березанском памятнике...

...Низкий, как вздох или стон, гудок донесся с моря: вдали, в сырой осенней дымке, плыл пароход, салютовал памяти мятежного лейтенанта.

Я пошел по высокой траве вдоль кромки обрыва. Ветер толкал вбок, к осклизлой грани, под которой бесновались волны. Они хлестали окаменевший песчаник, ухали в темных нишах пещер, шипя, сползали с кариесных ступенек берега. И там, куда едва добегала желтая пена, оставались валы ракушечных створок, синевших перламутрово, словно заводская стружка.

«Почему бы пароходству или еще кому-нибудь не организовать такой туристский маршрут? — думал я.— Чтобы сесть на судно в Одессе и отправиться недельки на две по Черному морю к низовьям Днепра. Можно было бы побывать на Березани, поклониться могиле расстрелянных моряков, заехать в Очаков, побродить по развалинам Ольвии, остановиться в Геройском, вспомнить на солепромыслах молодого Горького, пофотографировать оленей на кучугурах. Дальше — Голая Пристань, Херсон, обе Каховки и, конечно, памятник легендарной тачанке, что стоит в степи на одиноком кургане. А если к этому добавить остановки на морских и речных пляжах, у молодых сосновых боров и в тростниковых плавнях!..»

Вскоре я снова подошел к памятнику, только с другой стороны. Все так же монотонно вздыхало море тяжелым прибоем. Шумел ветер, трепал привязанные венки у подножия памятника. Тучи неслись низкие и лохматые. В одиноком просвете неба мельтешила стая птиц. Под ней в сером безгоризонтном просторе дымил белый пароход, манил в туманную даль.

В тот момент я вдруг понял, что не остановлюсь. Муза дальних странствий заворжила меня настоями луговых трав и лесных смол, степными и морскими просторами. Я понял: отныне весенние ветры будут особенно настойчиво стучать в мои окна. И я, как птица, уже не смогу усидеть на месте, уйду, уплыву, улечу по новым дорогам. Пусть исхоженным, как путь «из варяг в греки», но не изведанным для меня и потому таинственным. Ведь открытия бывают не только в новых местах, но и в каждом новом человеке, новом слове...

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ЧАСТЬ I

Это было в Пинске . . . . .	3
Перепутаница путей . . . . .	7
У моря . . . . .	11
Дали Неринги . . . . .	17
«Прибалтийские Нидерланды» . . . . .	22
Вверх по Неману . . . . .	26
Чудеса Друскининкая . . . . .	34

### ЧАСТЬ II

«...Трубы трубят городеньский» . . . . .	41
На «Щаре» по Щаре . . . . .	46
Перевал . . . . .	53
Конец «пятой стихии» . . . . .	64
На Припяти . . . . .	69
У высот Мозырских . . . . .	74

### ЧАСТЬ III

В «Злат-граде» . . . . .	79
Природа и мы . . . . .	86
Еще о природе . . . . .	94
Чуден Днепр... . . . .	97
Каневские тополя . . . . .	106
О морях, капитанах и традициях . . . . .	111
Днепровская дуга . . . . .	118

## ЧАСТЬ IV

Осенний рейс . . . . .	125
Былое и будущее . . . . .	131
В степи под Херсоном . . . . .	136
Там, за кучугурами . . . . .	141
Снова среди птиц . . . . .	145
Герои и проблемы . . . . .	153
У счастливых берегов . . . . .	159
Последние легенды . . . . .	166

*Рыбин,  
Владимир Алексеевич*

**ПО ДРЕВНЕМУ ПУТИ  
«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»**

Редактор *К. О. Добронравова*  
Младший редактор *Т. С. Положенцева*  
Художественный редактор *С. М. Полесицкая*  
Редактор карты *В. В. Рязанова*  
Технический редактор *Ж. М. Конобеева*  
Корректор *Ч. А. Скруль*

Сдано в набор 26 мая 1971 г. Подписано в печать  
31 августа 1971 г. Формат бумаги 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>, № 2.  
Условных печатных листов 12,09 (с вкл.).  
Учетно-издательских листов 13,12 (с вкл.). Тираж 80 000 экз.  
А 07163. Заказ № 2104. Цена 54 коп.

---

Издательство «Мысль». Москва, 117071, Ленинский  
проспект, 15.

---

Орлена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова  
Главполиграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров СССР.  
Москва, 113054, Валовая, 28.



**Рыбин В.**

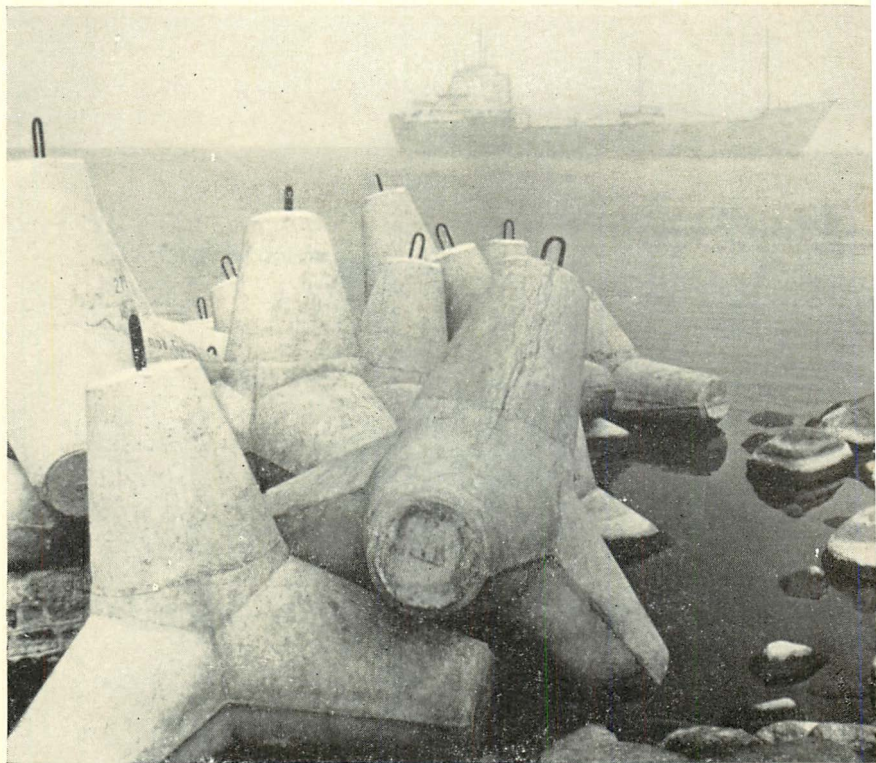
**Р 93** По древнему пути «из варяг в греки». М., «Мысль»,  
1971.

174 с. с карт.; 16 л. илл. (Путешествия. Приключения. Поиск)

Открыв эту книгу, читатель как бы совершит путешествие через всю нашу страну, от Балтийского моря до Черного; он увидит экзотику там, где ее, казалось бы, давно уже нет, познакомится с интересными людьми и, несомненно, узнает много нового и переживет вместе с автором удивительное чувство, всегда охватывающее первооткрывателя...

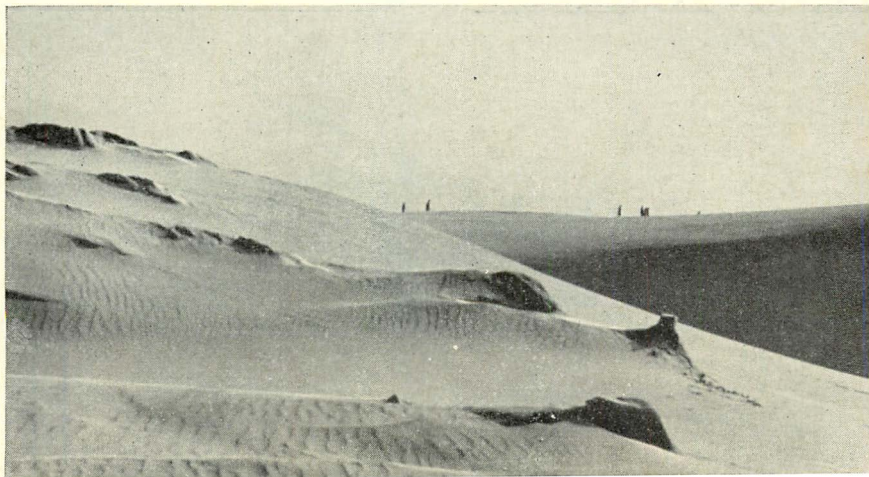
2-8-1  
159-71

91 (С)



Берег у Клайпеды

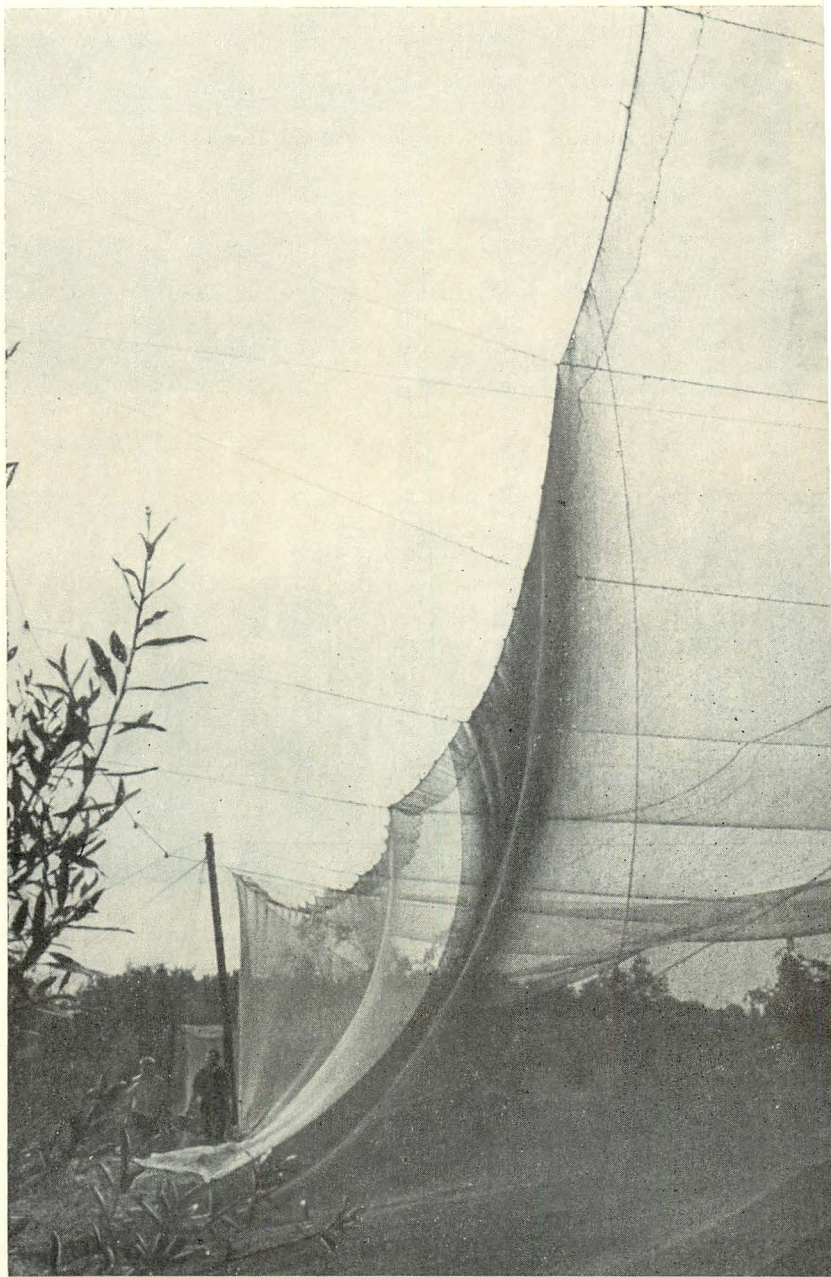
Дюны на Курской косе





Апст, птица Прибалтики





Сеть для ловли перелетных птиц

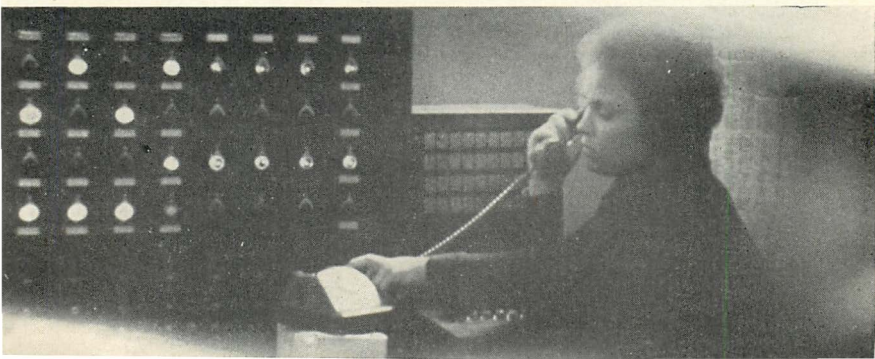


Одна из дамб Славского района



О дорогах здесь главная забота

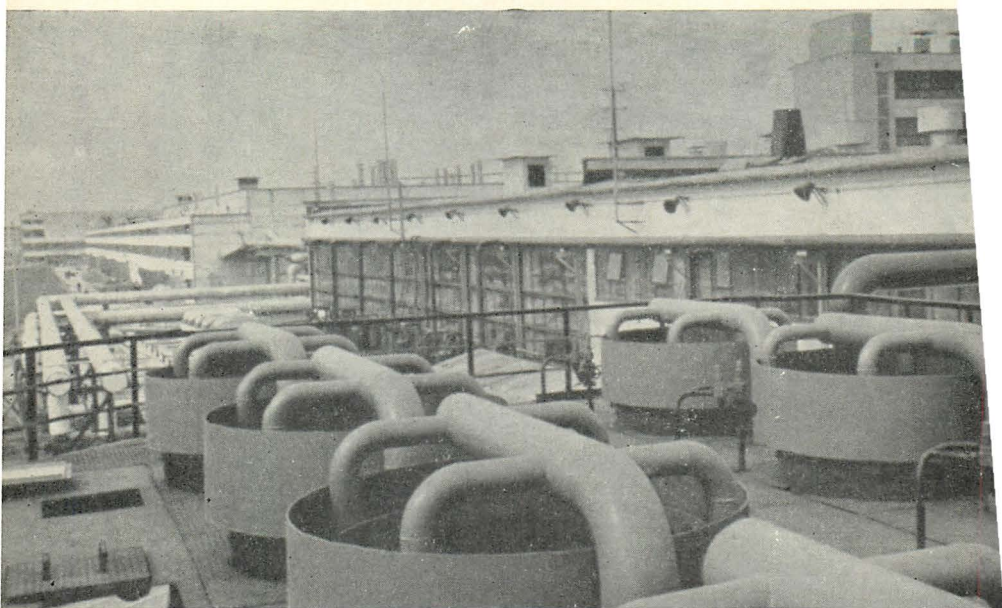
Отсюда ведется наблюдение за работой  
автоматических насосных станций



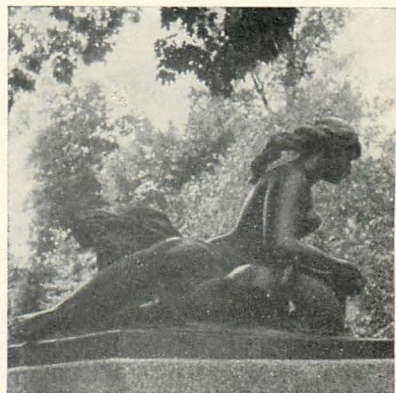
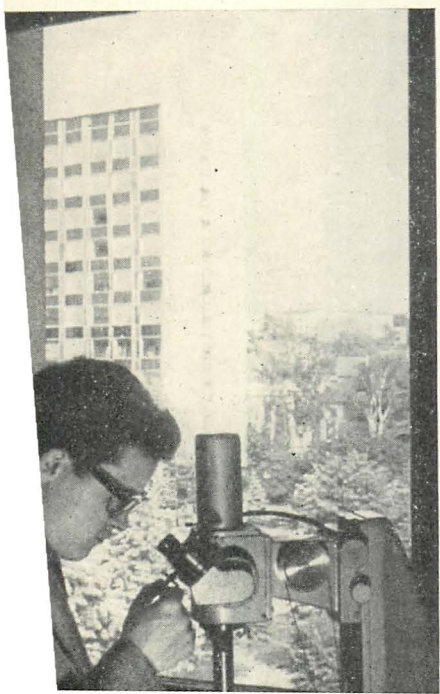




Уголок  
«прибалтийских  
Нидерландов»



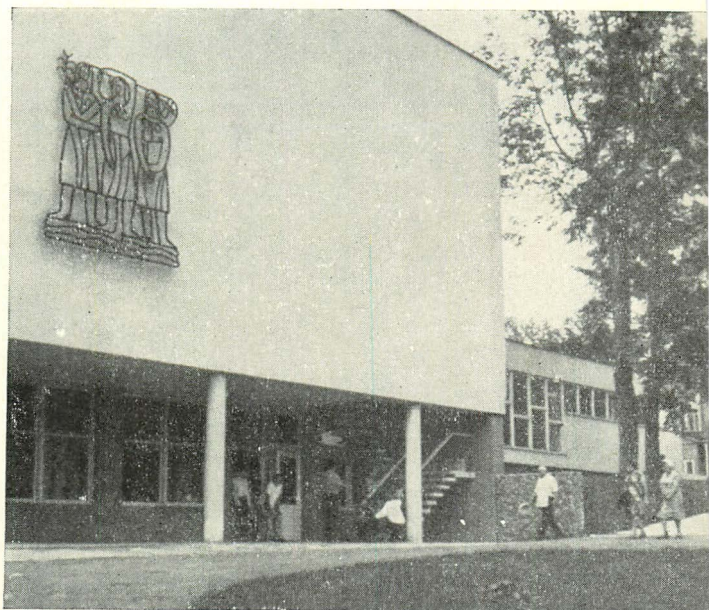
Завод искусственного волокна в Каунасе



Ратничеле

Вид на Каунас из окон  
Политехнического института

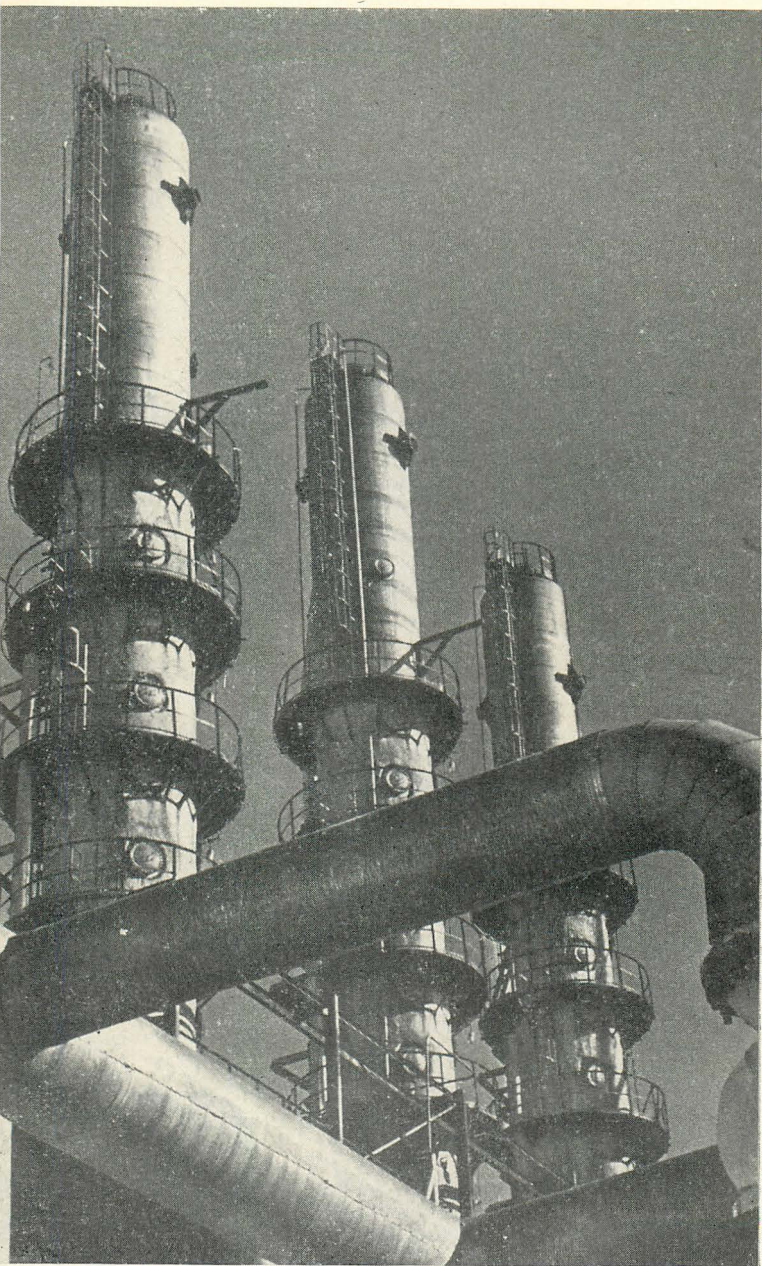




Новостройки Друскининкай  
В каскадной купальне





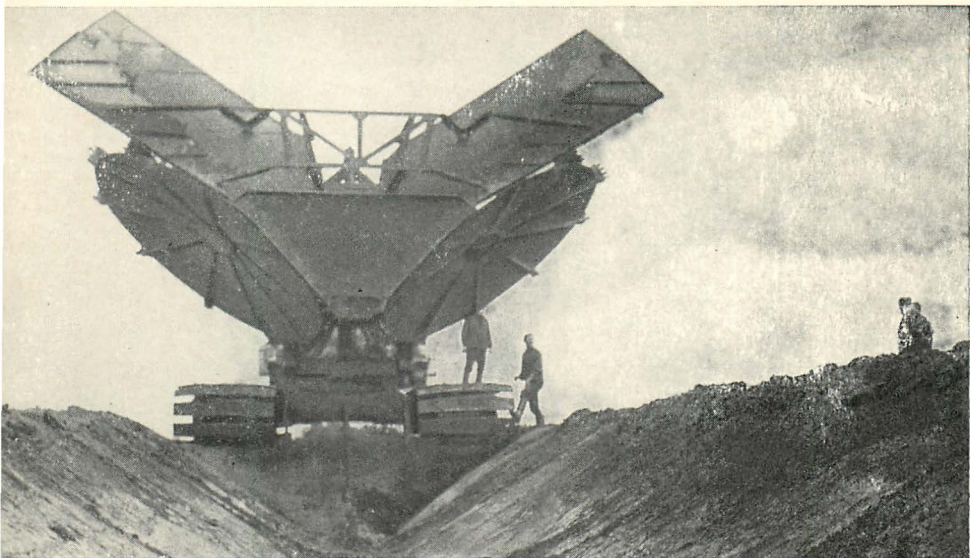


Гродненский химический комбинат

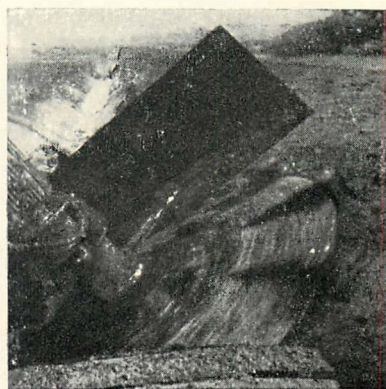
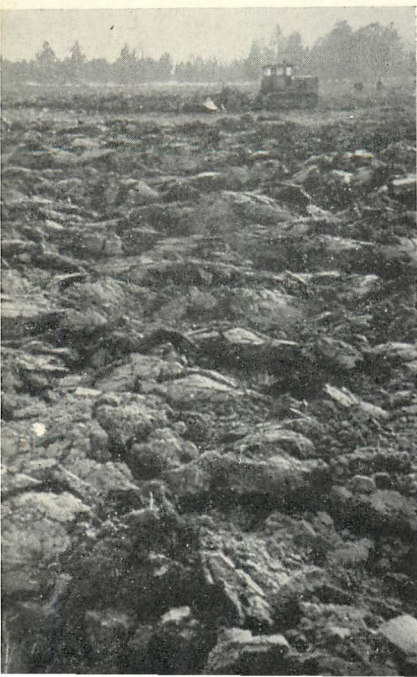


У памятника павшим. Минута молчания





Новейшие машины вышли на штурм «пятой стихии»



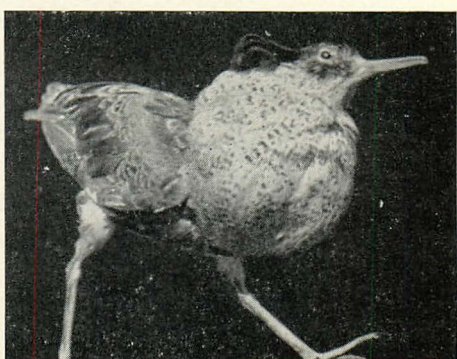
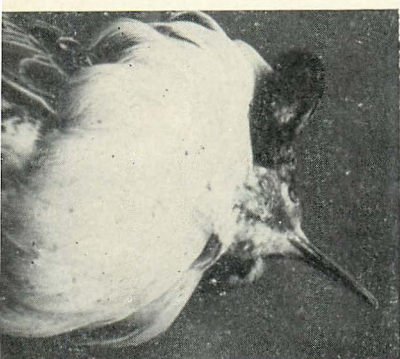
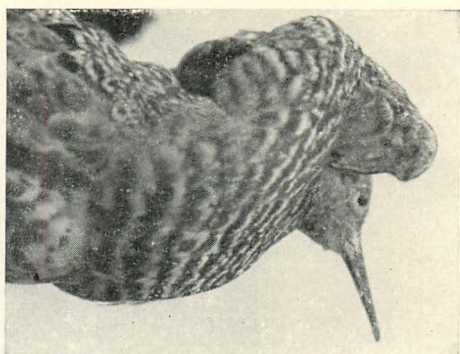
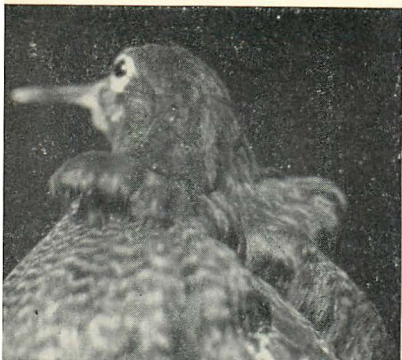
Так нарезают дренажные каналы

Первая вспашка на бывшем болоте



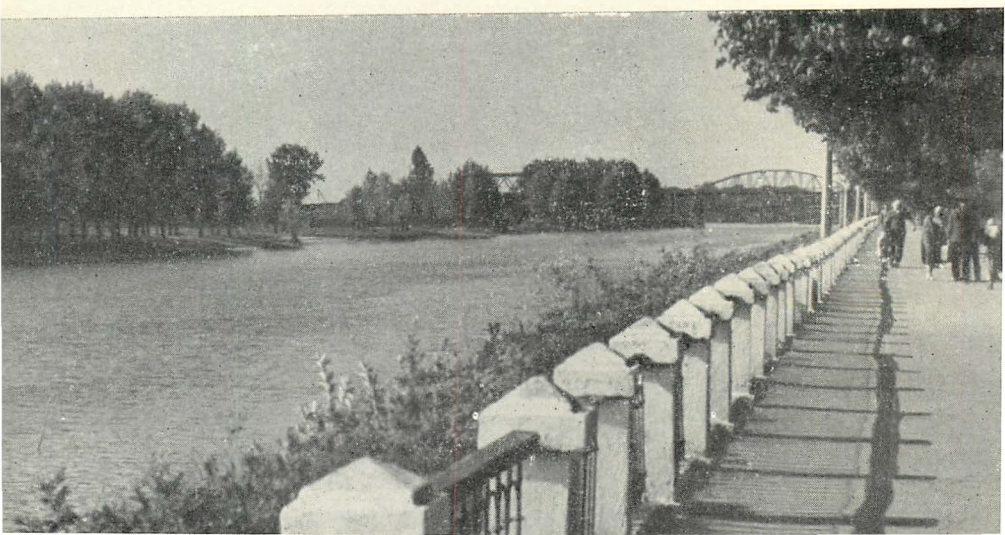
●гинский канал

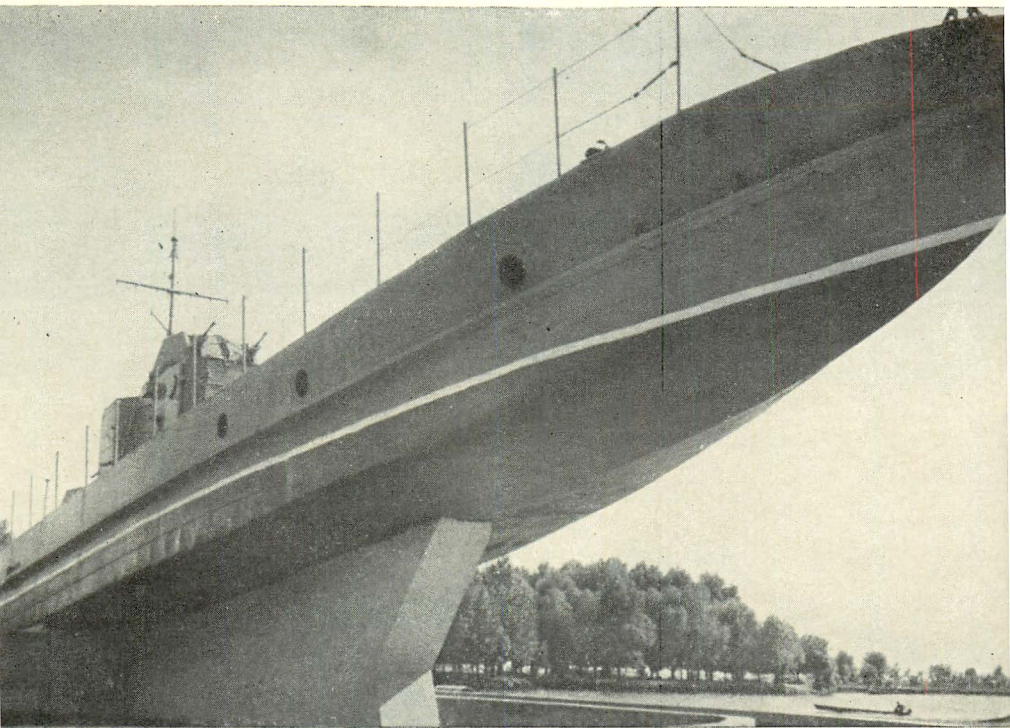




Брачные наряды болотной птички — турухтана

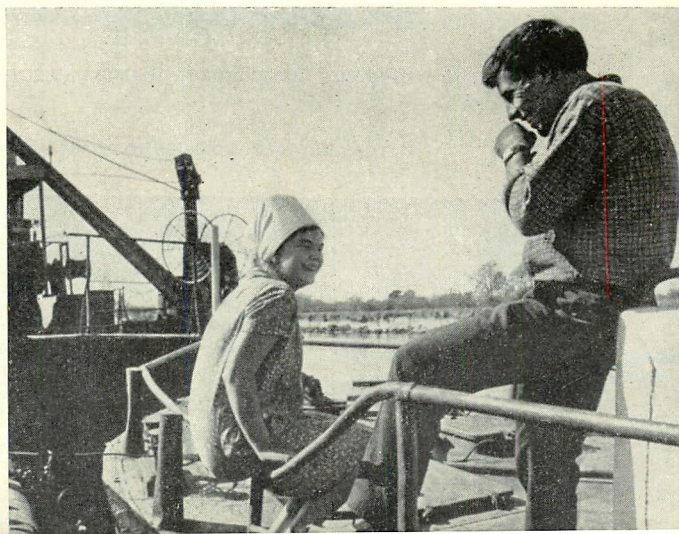
Набережная в Пииске



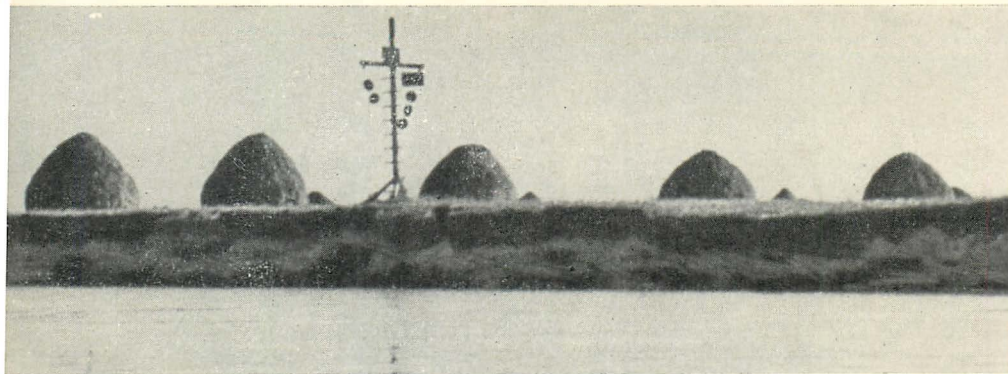


Памятник освободителям Пинска —  
героям Днепровской флотилии

Надя и Вася Милун





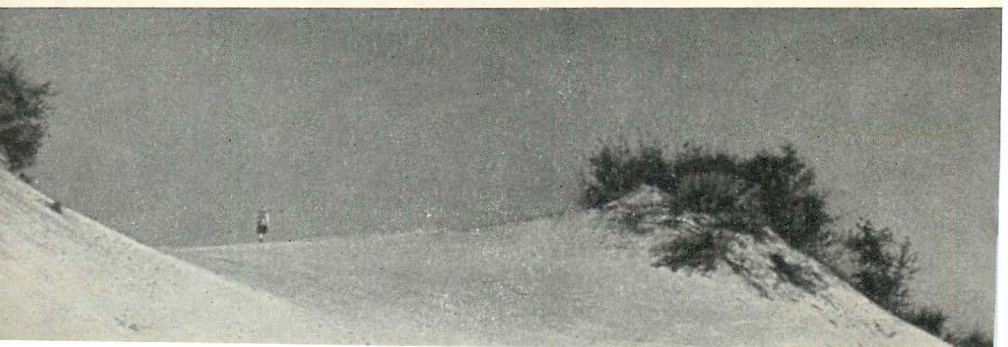


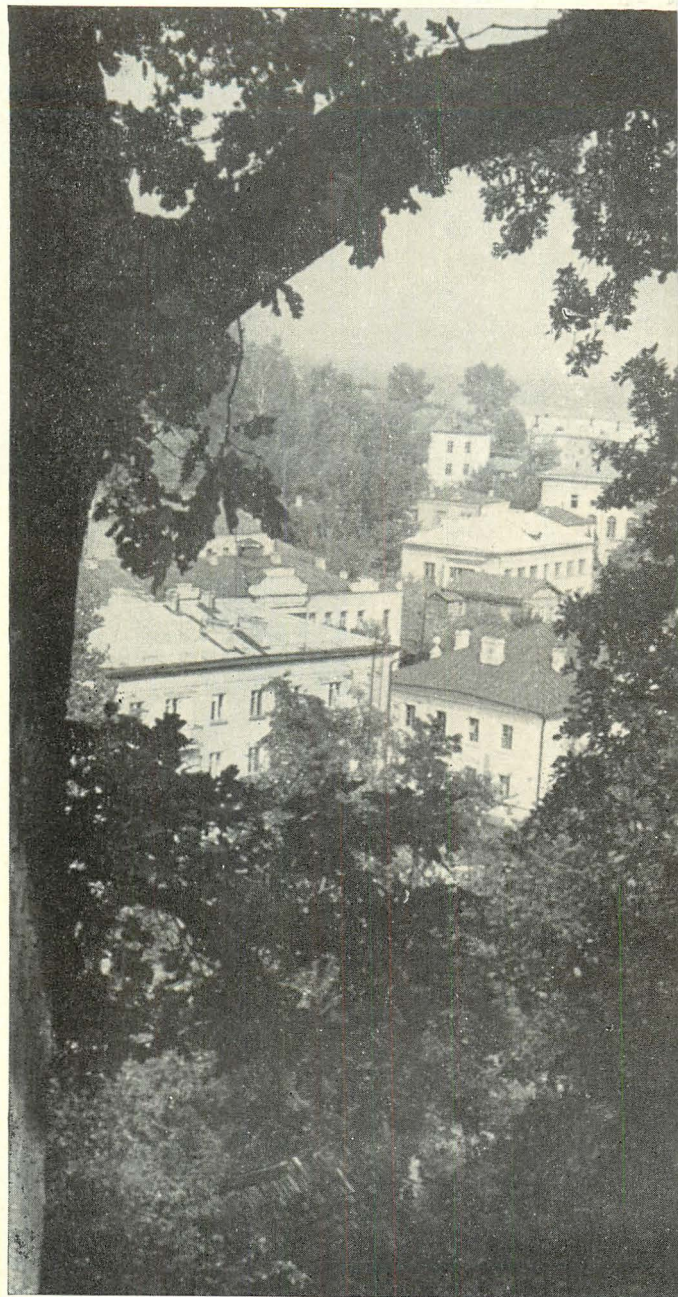
На Прияти



Глубины постоянно поддерживаются землесосами

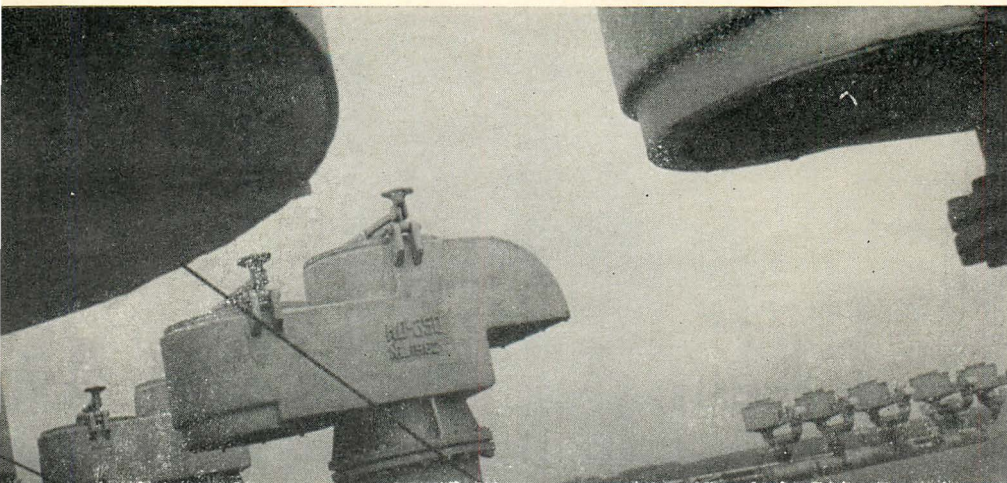
Встречаются в Полесье и такие «барханы»





Уголок Мозыря



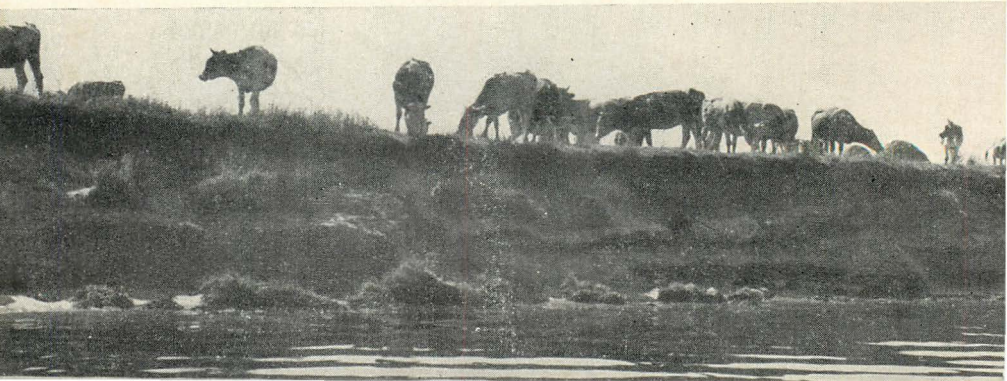


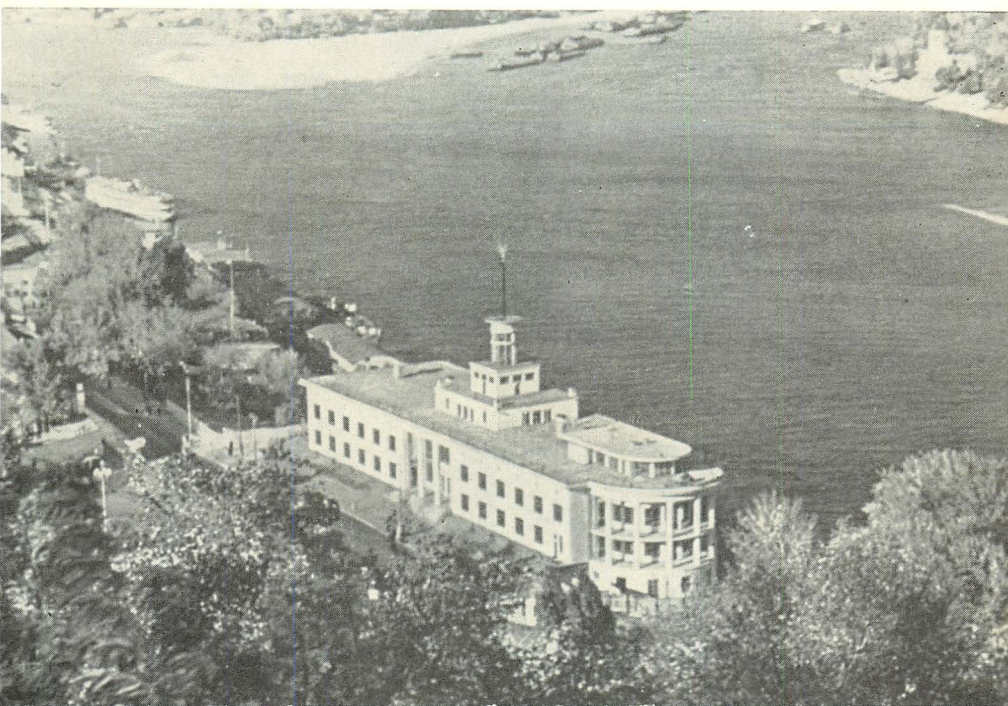
Один из участков нефтепровода «Дружба»



В порту Пхов

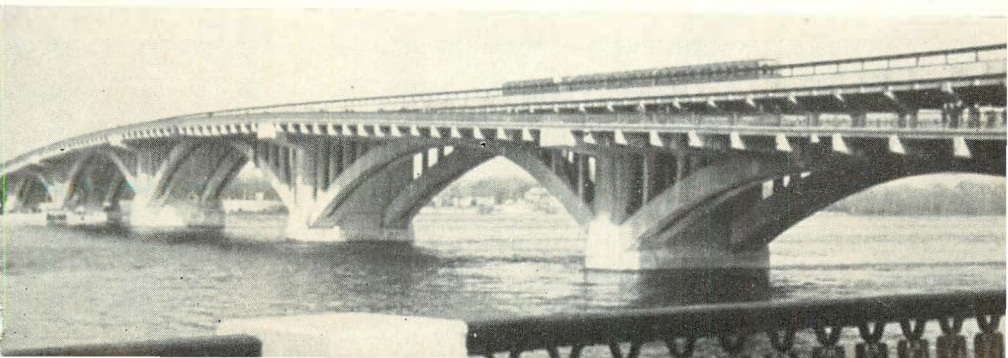
На берегу Припяти





Днепр с Владимирской горки. Киевский речной вокзал

Метромост в Киеве



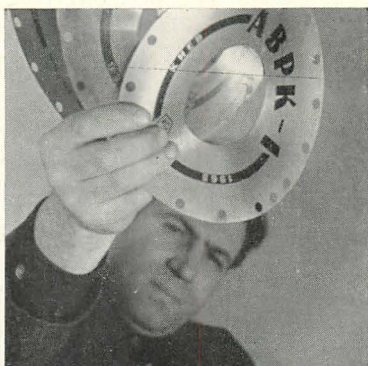




Профессор  
Лена Николаевна Сидаренко

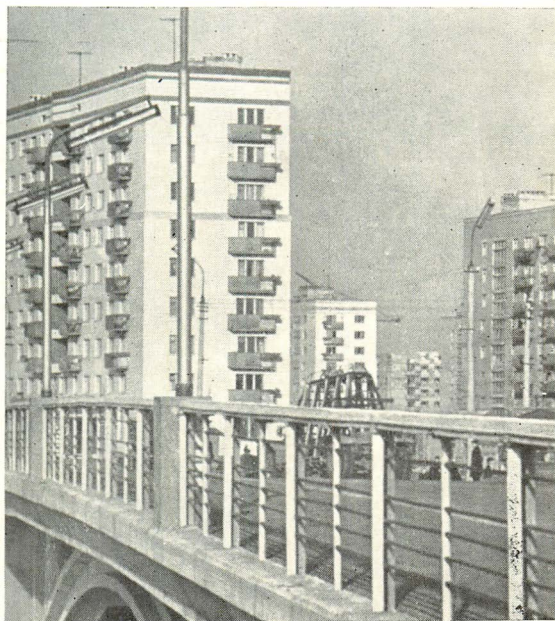


Профессор  
Леонид Иванович  
Рубцов

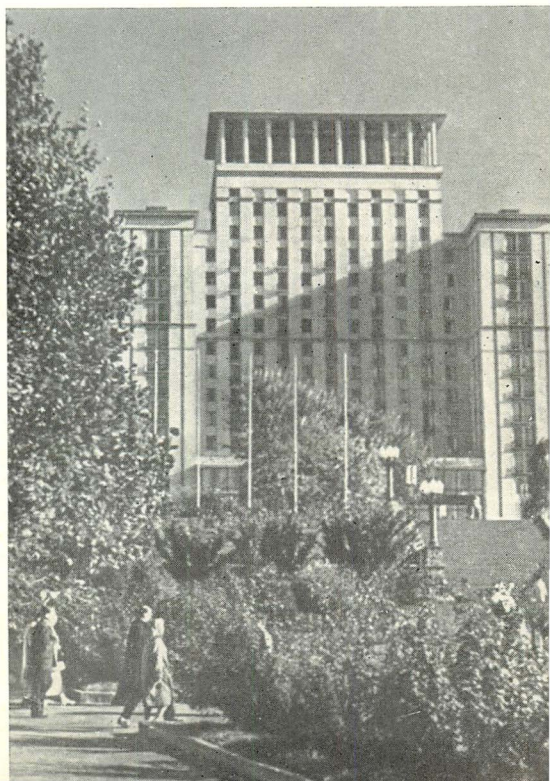


Алмазный инструмент (вспомогательный)  
и сувенир, изготовленный  
с его помощью

Новые дома Русановки



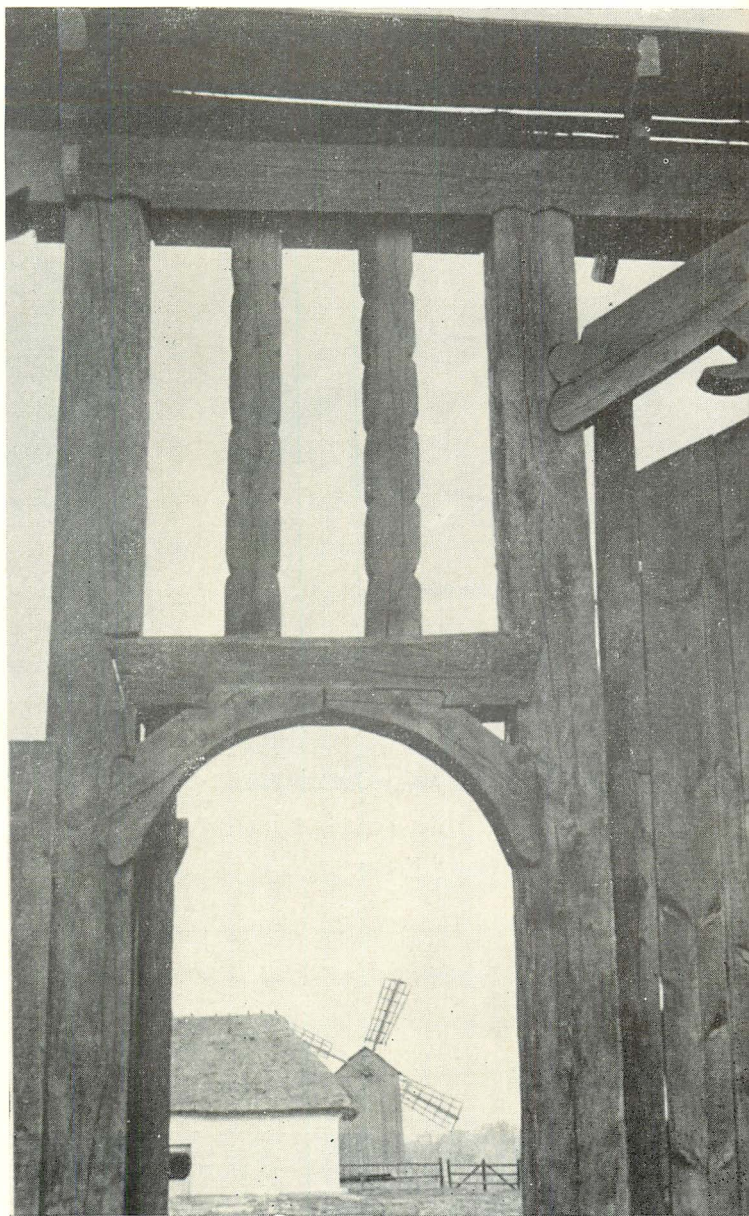
Гостиница «Москва» в Киеве







София Киевская — самый древний из сохранившихся каменных храмов Руси

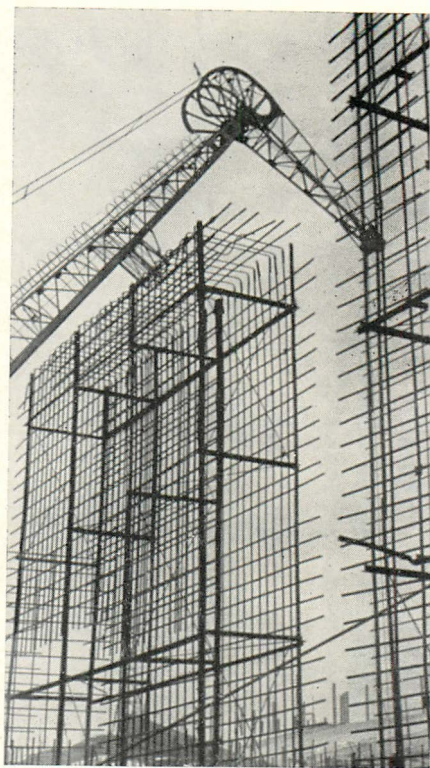


Уголок этнографического комплекса  
в Переяславе-Хмельницком





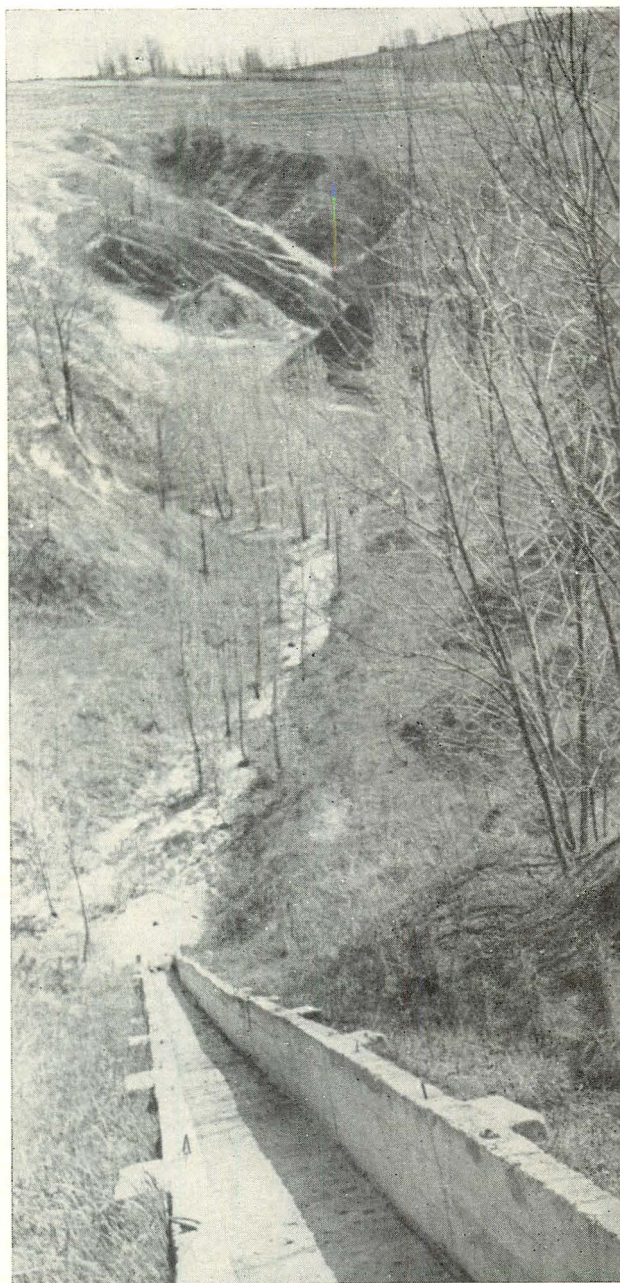
У входа в музей  
Аркадия Гайдая в Каневе



На строительстве  
Каневской ГЭС

Высокая вода





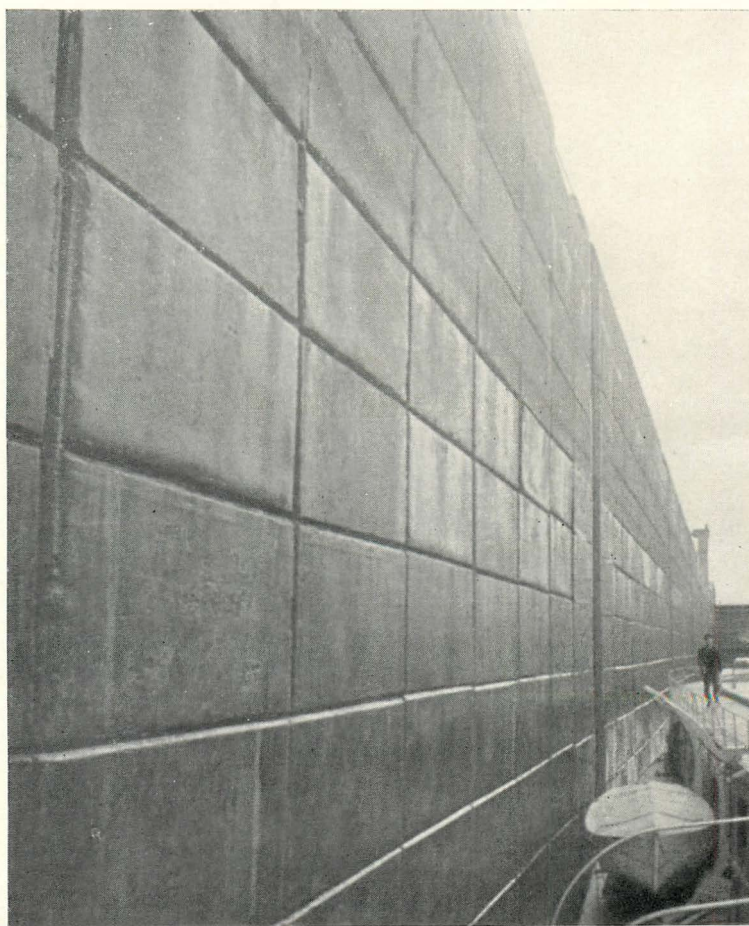
Укрощенный овраг

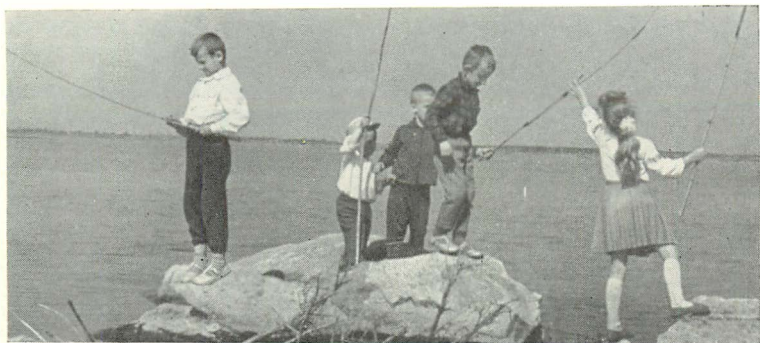




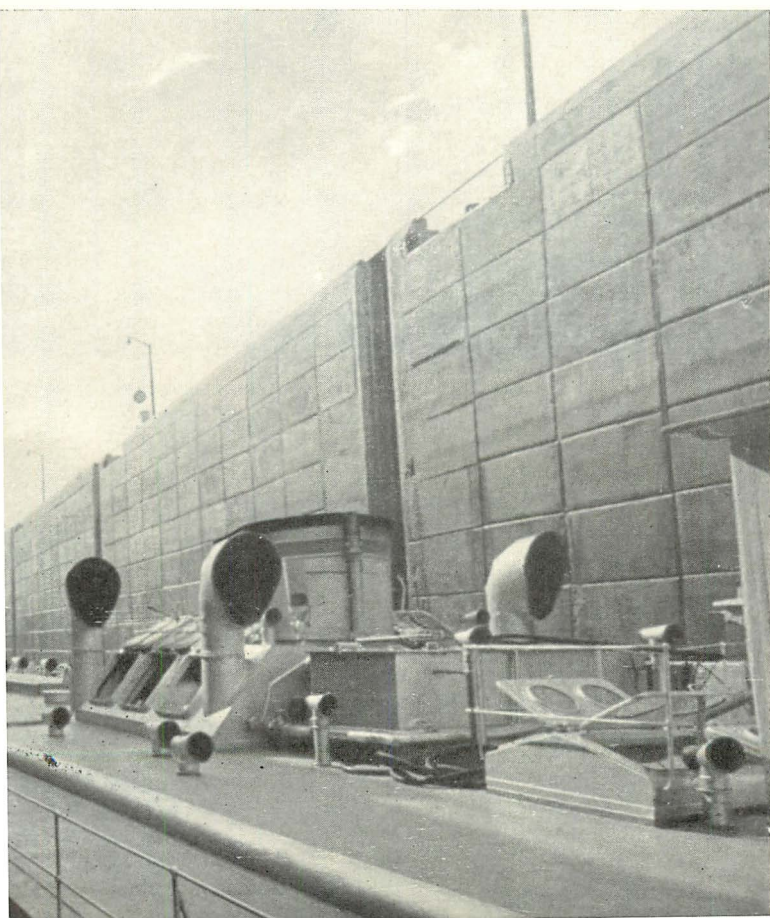
Так выглядел первый русский город-порт Вонья

Шлюзы





Дети Келеберды







Днепрогэс



Запорожский дуб



Петриковская роспись





Памятник легендарной тачанке в Каховке

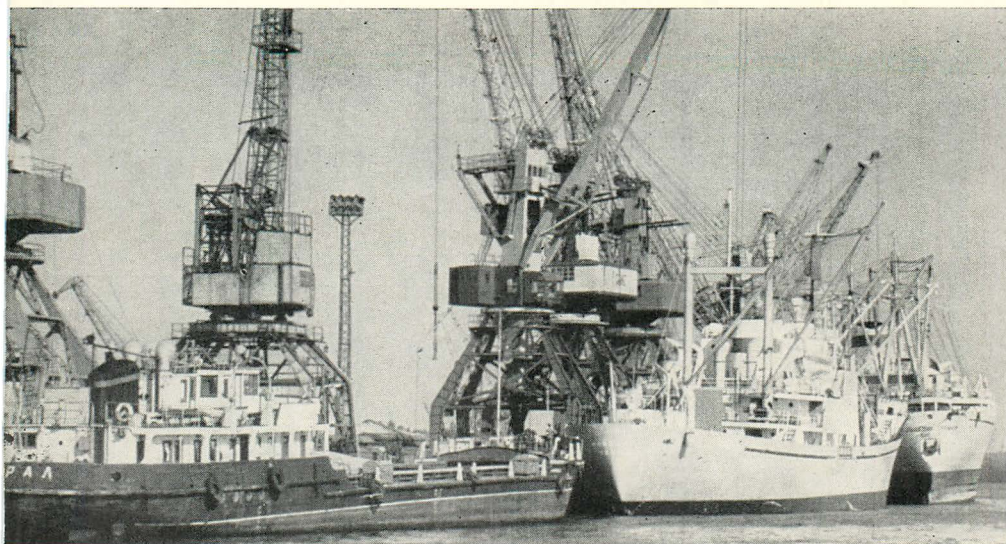


На строительстве Каховской оросительной системы

Осваиваются нижнеднепровские пески



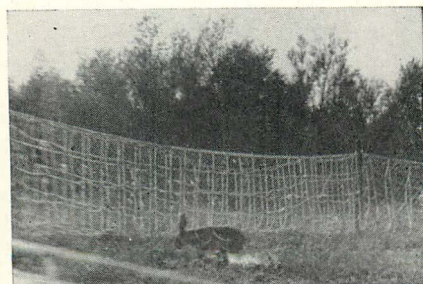




У причалов Херсона



Изучается миграция птиц

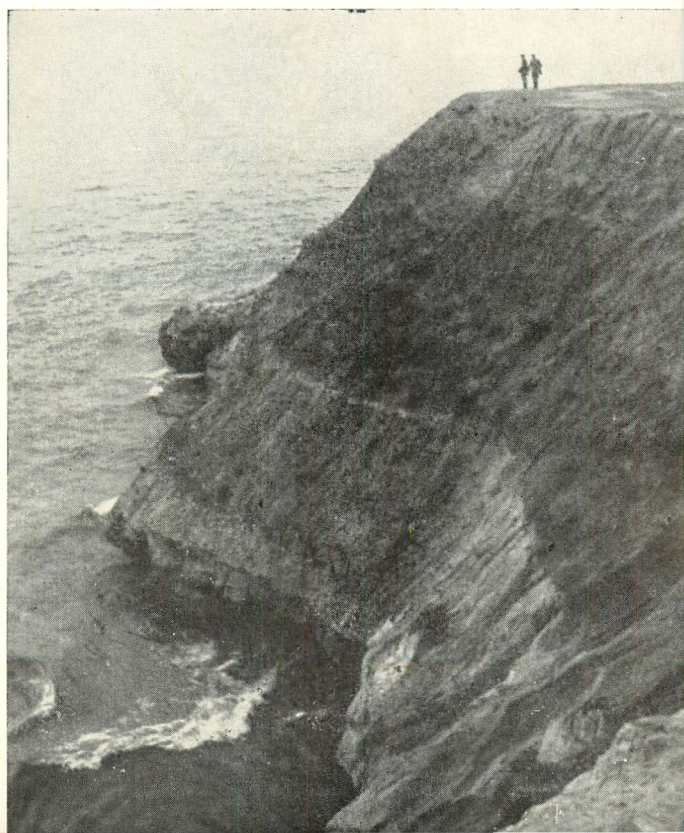


Так ловят зайцев

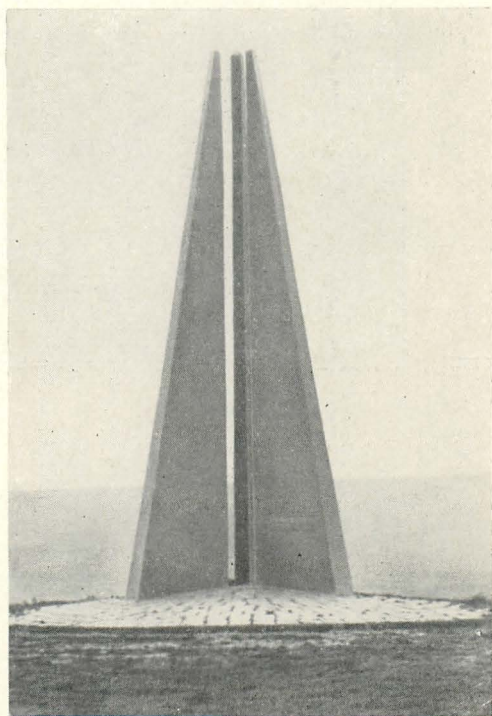
Руины Ольвии



Круты берега  
Березани







Памятник лейтенанту П. П. Шмидту  
и его товарищам по восстанию





54 коп.

